Жить

Автор:
Мария Метлицкая

Жить

Мария Метлицкая

Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет

Не бывает так, чтобы жизнь складывалась ровно и гладко. Невозможно во всем побеждать, всем нравиться, всех любить. И даже если вам говорят, что такие люди есть, не верьте. Жизнь обязательно воспользуется случаем, чтобы щелкнуть по носу, причем в тот момент, когда кажется, что все устроилось, сложилось, все идет как надо. Герои этой книги не раз убеждались в том, что все так и есть. Жизнь их била, и не раз. В самые неожиданные моменты. Наотмашь. Но знаете, кто счастлив по-настоящему? Тот, кто знает: во что бы то ни стало надо жить. Просто жить. Что бы ни случилось. И когда в очередной раз случаются неудача, несправедливость или неприятность, когда кажется, что все рушится, надо просто сказать себе: «Живем дальше». И жить.

Мария Метлицкая

Жить

© Метлицкая М., 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Жить

В поездах Никитин никогда не спал. Разве что в молодости – беззаботной, веселой. Тогда спал, да еще как – беспробудно, как сурок. Так, что будила его проводница: «Эй, парень! Вставай! Не ровен час проспишь остановку».

С возрастом все изменилось.

Но главное, по чему Никитин так тосковал, – давно позабытая легкость. Легкость во всем. Легкое ко всему отношение. И еще – только в молодости, далекой и безвозвратно ушедшей, было сказочное ощущение перманентного нескончаемого праздника. Праздника, который будет всегда с тобой, – тогда, в молодости, он считал себя везунчиком. А это было сказочным ощущением, надо сказать.

Все прошло. Конечно, пятьдесят два для мужика не возраст – в пятьдесят два еще круто можно повернуть и изменить свою жизнь. Так круто, что наверняка закружится голова. В пятьдесят два можно начать все сначала – прожить вторую, новую жизнь. В отместку той, первой, увы, не самой удачной.

Но обнулить ту, прошлую, жизнь почему-то не получалось.

И еще страшновато было осознавать, что та, прошлая, жизнь – черновик, а вот на беловик сил почти не осталось.

Из Москвы Никитин уезжал поздно вечером, в одиннадцать. Расстояние до Н. пустяковое – всего-то четыреста верст! Но новомодные удобные и быстрые «Сапсаны» в его городок не ходили – пассажиров не набиралось и получалось невыгодно. Вот и приходилось тащиться всю ночь. В это время спокойно, почти без привычных пробок, он быстро доезжал до вокзала, ставил на паркинг машину – оплату за два дня он точно переживет – и шел на перрон. Когда-то он любил поезда, с их вечным запахом уголька и мазута, с теплым купе, со

стаканом крепкого чая в металлическом подстаканнике, мелодично позвякивающем в такт колес. С тихими полустанками со слепящими прожекторами, городки и поселки с короткими, в минуту, остановками и ровным, безразличным голосом диспетчера, монотонно объявляющего о прибытии поезда.

Никитин любил приезжать в свой город ранним утром, когда еще клубился, стелился над крышами нерастворенный молочный рассвет и утренняя прохлада не отменяла пешей прогулки до отчего дома. Всего полчаса размеренным шагом и, разумеется, с пользой для здоровья. Как у всех москвичей, его обычные перебежки были короткими – машина, офис, подъезд.

Он шел по знакомым улочкам, и каждый раз его накрывала счастливая мысль, что тогда он сделал все правильно.

Да, да, он все сделал правильно! Его поспешный побег был оправдан, и мысль эта грела и придавала ему сил. В плохую погоду пешком идти не хотелось, и он подходил к стоянке такси. Хотя какая там стоянка – громко сказано. На небольшом грязном, заплеванном пятачке крутились местные привокзальные бомбилы, похожие на всех бомбил нашей необъятной родины – жуликоватые, наглые, развязные и беспардонные.

Жадным взглядом они шарили по толпе, выискивая среди вновь прибывших «жирных» клиентов – возможно, командированных или просто залетных.

Но командированных было мало – когда-то известный и крупный завод приказал долго жить. Правда, в нулевые он был выкуплен каким-то олигархом, но мощи своей не возродил – работала там всего пара цехов. Был завод – и не стало. А на небольшом, тоже почти умершем, камвольном комбинате работали одни женщины. Больше промышленности в городе не было. И как следствие не было работы. Ситуация эта была обычная, рядовая. Так жила почти вся Россия. И небольшой, тихий городок хирел день ото дня. Грустно было смотреть на полупустые и пыльные улочки, на жалкие магазинчики со скудным дешевым ассортиментом, на плохо одетых людей, на покосившиеся заборы и давно не крашенные крыши, на хмурые, тоскливые пятиэтажки, построенные в семидесятых и казавшиеся тогда верхом совершенства и предметом сладких, почти недоступных грез. Квартиры в «городских» домах давали только работникам и служащим завода. Были еще два дома «для белых людей» – так называли в народе дома для начальства: заводских инженеров, начальников

цехов, комсоргов и парторгов. К этим пламенным ловкачам присоединялись и слуги народа – деятели райкома и городского совета. Вернее, заводское начальство присоединялось к верхам и сливкам.

Два дома для «белых людей» были шестиэтажными, из простого силикатного серого кирпича, но на общем фоне пятиэтажек и частного сектора выглядели буквально дворцами. Квартиры в них были тоже не ах – Никитин потом это понял. Бывал он там часто – в одной из таких квартир жил его закадычный школьный дружок Пашка Панфилов, сын главного инженера завода.

Скромная трешка с восьмиметровой кухней казалась Никитину замком, волшебным теремом, сказочным палаццо. В Пашкиной квартире стояла полированная румынская стенка и «тройка» – два бархатных кресла с диваном, красота неземная. В зале висела большая хрустальная люстра, а на полу лежал зеленый, в завитушках, ковер.

У Никитиных ничего такого не было – квартиру им дали двухкомнатную. «И то счастье! – повторяла мать. – Ничего, разместимся! Мальчишки в одной комнате, мы в другой». А отец был недоволен – растерянно ходил по квартирке, и было видно, что душа у него не лежит: «В доме, мать, было лучше! Простор! Да и сад…»

Мать злилась: «Простор! А печка? А вода из колонки? А мусорка за три километра?»

Печка и колонка были, чистая правда. А вот мусорка стояла рядом – метров за сто. Но сад действительно был! Да какой – яблони и сливы, груша и густой, разросшийся малинник у самого забора. Были и грядки с огурцами, редиской и клубникой, на которую они втихаря совершали набеги.

Отец страдал, а мать была счастлива. Без конца включала газовую горелку и как завороженная смотрела на сине-красную шипящую розу. А потом, присаживаясь на край ванны, включала горячую воду и счастливо улыбалась.

После переезда из старого дома отец погрустнел и притих. Громко вздыхая и крякая, бесцельно слонялся по квартире, не находил себе места, а по выходным торопился на «родину» – так он называл свой старый район и дом, где провел свое детство. Но домика уже не было – вскоре после их переезда его снесли,

построив на этом месте новую городскую больницу.

Однако какие-то старые дома на окраине еще оставались. В них жили приятели отца и соседи. В садах по-прежнему стояли сбитые из досок покосившиеся столы, и мужики в майках и трениках все так же громко стучали костяшками домино и пили жидкое светлое разливное пиво.

Мать злилась на отца, но тот еще долго бегал на «родину».

А братьям Никитиным, Ваньке и Димке, все было по барабану – в новом районе они тут же влились в дворовую компанию и так же гоняли в футбол, так же играли в расшибалочку и так же кадрились с местными девчонками. Какая же разница где?

Братья были погодками – старший, Иван, Ванька, и младший, Дмитрий, для друзей и брата – Димыч.

Между собой жили дружно – никаких разборок и драк. Друг за дружку стояли горой – попробуй-ка тронь!

Несколько раз родители возили их в Москву. И младший, Димка, затосковал. В Москву он влюбился с первого взгляда. Ошарашенно оглядываясь, шарахаясь от проезжавших машин, задирая голову, разглядывая высоченные дома, он завидовал, завидовал спешащим по делам местным жителям, торопливым и невежливым москвичам. Вот же счастливчики! А в девятом классе твердо решил, что уедет. Он не хочет прожить свою жизнь в родном Н., в этом тухлом болоте, в этой тихой убогости, в этой скудности и вечной тоске.

Уехать, уехать. Вырваться. Мозги есть, руки-ноги на месте. Он точно знал, что прорвется, выстоит, устроится и победит.

Но ни матери с отцом, ни даже брату Ваньке ничего не говорил – знал, что за этим последует. Решил так: скажет накануне, перед самим отъездом.

Старший брат после десятого пошел к отцу на завод – сначала учеником мастера, а потом и рабочим. А через год ушел в армию. А он, Дима Никитин, сразу после выпускного объявил близким, что решил ехать в Москву поступать в

институт.

Мать заохала, заголосила, отец угрюмо молчал. Но вдруг остановил материнские причитания и жестко сказал:

– Езжай, Димка! Хоть один в семье будет ученый!

Мать охнула и медленно опустилась на диван.

– Ты в своем уме, Степа?

Но тут же притихла и стенания свои прекратила.

На брата Ваньку Димка боялся смотреть – понимал, что это предательство. Даже не то, что он решил ехать, а то, что ничего не сказал. Но навсегда запомнил глаза брата – удивленные и растерянные. В них затаилась обида.

Дима Никитин вышел на перрон Казанского вокзала и замер от восхищения – он здесь, он в Москве, и он будет студентом! Будет здесь жить! Зацепится за этот прекрасный город двумя руками – не разожмешь. Да что там руками – зубами! А зубы у него крепкие и здоровые, будьте уверены! И хватка как у бойцовой собаки. Он станет столичным жителем, москвичом. Он твердо знает, как идти к своей цели. И будьте спокойны – удачу свою он не упустит!

Но не срослось, не получилось. Экзамены он завалил. Глупо срезался на математике, которую знал на отлично.

Из общежития его погнали. Пару ночей перекантовался у нового знакомого, москвича. Но быстро понял – хозяину это в тягость. Ночевал на вокзале – несвежие булочки из буфета, несладкий чай – денег копейки. От спанья на жесткой скамейке болела спина, затекали ноги. Гигиенические процедуры в вонючем и грязном вокзальном туалете, питьевая вода с устойчивым запахом хлорки из-под крана. Он зарос щетиной. Устал. В голову ничего не приходило – в смысле, ничего путного. Возвращаться домой? Нет, ни за что. Стыдно было вернуться проигравшим, но делать нечего – пришлось. Пришлось смириться и с тем, что столица отвергла его, не приняла, дала коленом под зад. Больно, обидно, да ладно! Впереди целая жизнь! Правда, прежде всего впереди была

армия – аккурат через год. Ну не бегать же от военкомата, не скрываться – позор. Да и с поступлением на следующий год будут проблемы. И по всему выходило, что надо возвращаться. Ну что ж, позор он переживет – не он один. Год перекантуется у отца на заводе, отслужит два года, а там… Он от своего не оступится.

Вернулся. Как ни странно, встретили его радостно и без насмешек. Отец похлопал по плечу – дескать, все в жизни бывает, а мать повисла на нем и не отпускала и все приговаривала: «А дома-то лучше, Димочка! Лучше, сынок!»

Брат Ванька ничего не сказал – гордым был, в отца. Но видно было, что рад: вернулся любимый братан! Они снова вместе!

Вечером напились – отец поставил бутылку и первый раз в жизни пил с сыновьями. Мать делала большие глаза, но молчала, не возражала – чувствовала важность момента.

А ночью, когда наконец улеглись, братья долго не могли уснуть, и Ванька вдруг выдал:

– Димыч, здесь тоже жизнь! Ты не думай.

Но Никитин его перебил:

– Нет, Ваня. Здесь для меня удавка. Отслужу и все равно сбегу. И не уговаривай! Не могу я здесь, понимаешь! Душно мне и хреново. Прости, брат!

Ванька обиженно засопел и ничего не ответил.

Через две недели Димка Никитин работал на заводе грузчиком. Работка была не дай бог. Но что делать? «Перекантуюсь, – утешал он себя. – Это временно. Переживу, перетерплю – выхода нет».

В сентябре он вышел на завод, а в октябре, в самом конце, когда уже почти облетели листья с деревьев и подступала самая паршивая пора поздней осени, серый и мрачный ноябрь, самый тоскливый и нудный месяц, он познакомился с Тасей.

Она была приезжей – окончив педучилище, отрабатывала по распределению три года учительницей начальных классов.

Круглая сирота, она выросла в детдоме – мать умерла от порока сердца, не дожив и до тридцати. После смерти жены отец начал пить, по-страшному, по-черному. Ну и утонул в одночасье в мелком, заросшем тиной пруду.

Тасе уже было двадцать, Никитину только исполнилось семнадцать. Была она худенькая, высокая, почти ему в рост. Кареглазая и светловолосая, с нежной, прозрачной кожей, высокими скулами и тонкими, темными, словно нарисованными бровями. Стесняясь своего роста, она сильно сутулилась, почти не поднимала при разговоре глаза. Быстро и густо краснела и говорила полушепотом. Никитин посмеивался над ней: «Как ты ведешь уроки? Тебя же не слышно!»

Тася жила «на квартире» – на самом деле снимала комнатушку в шесть метров в частном доме у глухой старушки Семеновны, невредной и тихой. Они ладили.

Никитину нравилась Тася, его первая женщина, хрупкая, красивая, нежная. Семеновна, хозяйка квартиры, не возражала против его ночевок, хитро щуря подслеповатые глаза и приговаривая, дескать, дело молодое, помню ешшо!

Тася тут же краснела и опускала глаза. Родители все понимали и молчали. Все понятно, молодость. Только мать волновалась: Тася приезжая, своего жилья нет, а это означало, что после свадьбы она придет с ним. Только, спрашивается, куда? В комнату к Ваньке? Но успокаивала себя одним – если Димка женится на Тасе, то не уедет! Пусть погуляет, пусть оторвется! А вот сыграем свадьбу, родит Тася детишек, и он успокоится.

Что еще матери надо? Но подступала армия, и ее беспокоило, будет ли ждать его Тася. Не загуляет ли, когда жених будет в армии? Всякое бывает, дело-то молодое. Но, случайно встретив Тасю на улице или в магазине – город маленький, все носом сталкиваются, – успокаивалась: нет, эта точно не загуляет. Эта будет ждать сколько понадобится, на ней написано. Ну и слава богу! Да и пережила девка не приведи господи! Смерть матери и отца, детский дом. «Буду ей матерью, – решила она. – Приму как родную. А видно, что хорошая! Скромная, тихая – уживемся».

К Тасе Димка приходил после заводской смены – усталый, замученный тяжелой физической работой, черный от пыли. Она ждала его и спать не ложилась. Вода в ведре была нагретой, теплой. Тася поливала ему голову из кувшина, вытирала ее полотенцем и торопилась его накормить. А он, голодный, есть не спешил – спешил утолить другой голод. И поскорее. И, умывшись, тут же тащил смущенную и упирающуюся Тасю в комнату.

Торопился, спешил – первая женщина, первая страсть. И никак не мог ею насытиться – все ему было мало. Потому что было так сладко, что останавливалось сердце, когда он ее обнимал, когда целовал. Когда смотрел на ее спину – тонкую, изящную, белую, словно фарфоровую, с проступающим рядом выпуклых позвонков. В горле пересыхало от любви и от жалости к ней. Почему? Да потому что понимал – не судьба. Не судьба этот город и не судьба эта женщина. Он твердо знал, что все равно уедет отсюда. Все равно сбежит. И никакая женщина его не остановит – пусть самая желанная и самая сладкая.

Да и жениться он не собирался – какое? Ему только будет восемнадцать. Тоже мне, жених! Без профессии и угла, армия на носу! А потом – потом будет Москва! Ну не со своим же самоваром ехать туда? Смех, да и только. Да и столько красивых девчонок в Москве – глаза разбегались.

Может, и ходит там, совсем рядом, его судьба? Но это точно не Тася – в этом он был твердо уверен.

Она ни о чем его не спрашивала, не задавала ни единого вопроса – придешь, не придешь? Даже про пустяки не спрашивала, что уж говорить про все остальное? Это его вполне устраивало. Значит, она без претензий и планов на совместную жизнь. Ну и прекрасно.

К весне он к Тасе слегка охладел, но по-прежнему ходил в дом на окраине. Она все так же ждала его с нагретым ведром воды, с отваренной картошкой, завернутой в десяток газет и укутанной одеялом. Со свежезаваренным чаем и только что испеченным печеньем, накрытым белой салфеткой. Это печенье, рассыпчатое и нежное, прокрученное через мясорубку и вытекающее оттуда длинными веревками, он называл печеньем из червяков. А она обижалась и спорила, что название ему – «хризантема».

Любил ли он ее? Да нет, вряд ли. Да что он, мальчишка, тогда понимал в любви? А вот когда встретил Тату, будущую жену, тогда буквально сошел с ума, за очень короткое время.

Но до Таты было еще далеко – несколько лет. А пока была тихая Тася, металлическая кровать, узкая и скрипучая, с пружинным матрасом, марлевые занавесочки, накрахмаленные и подсиненные, облезлый столик, выдаваемый за туалетный, на котором стояла рассыпчатая пудра «Белый лебедь» и духи со странным названием «Быть может». И пластмассовая расческа, на которой светлел золотистый и легкий волос хозяйки.

Но ночью он шалел от Тасиной страсти и ее ласк – ярых, отчаянных, словно прощальных и обреченных. Шалел и вздрагивал от ее слов – шептала она такое, что даже ему, мужику, было неловко.

А утром она снова была тихой и молчаливой скромницей, согласной на все.

Перед армией он уже тяготился ею – по вечерам хотелось рвануть к приятелям, попеть под гитару с братом или просто погонять мяч во дворе – пацан, что с него взять. Она это чувствовала, но снова молчала. Только ее прекрасные карие глаза были полны печали. Но какое ему дело до ее планов и до печалей? У него впереди армия, нелегкая служба. Как там все сложится? Ну а потом – потом Москва! И он был совершенно уверен, что вот на этот раз у него там получится! Эти мысли поддерживали его – конечно, идти и служить было совсем неохота.

Проводы устроили во дворе. Тесная квартирка ни за что не вместила бы желающих. А желающих было много – соседи по дому, школьные приятели, знакомые родителей.

Май был душистым и теплым, и очень не хотелось уходить из этой знакомой и привычной жизни в жизнь другую – возможно, даже опасную. А вдруг Афган? «Не дай бог», – причитала мать и потихоньку от отца ходила в церковь, молиться.

На столах, накрытых прозрачными клеенками, – что подешевле, покупалось на метраж, ну не скатерти же выносить! – стояли тазики с винегретом, тарелки с подтаявшим холодцом, блюда с селедкой и толстые пироги с капустой. Поди накорми такую ораву! Соседки поделились закрутками – солеными помидорами

и огурцами, оставшейся с зимы квашеной капустой, уже подкисшей, пригодной только на щи. Но все сошло и все пригодилось.

Тут же, во дворе, приятели разводили костер, жарили шашлыки. С трудом достали свинину – отец наездился по селам, упрашивая зарезать свинью. По весне скотину не резали. Было много водки и домашнего вина, но, как обычно, кончилось все очень быстро и догоняли наливками и даже лечебными настойками тетки Насти – соседки напротив.

Потом были гитара и непременные пьяные разборки, без которых еще не обходилось ни одно застолье. Парни хватали за руки девчонок, девчонки хихикали и делали вид, что сопротивляются. И все топтались под музыку. Никитин, конечно, напился. Сидел, уронив голову в руки, и, кажется, плакал. Рядом плакала мать, гладя сыночка по волосам и приговаривая:

– Береги себя, Димка! Не дай бог – уйду следом, сынок!

Раздраженно отмахивался от матери и звал брата, дескать, спаси.

Тася на проводы не пришла – отговорилась, что там и без нее обойдутся. «Да и мама твоя… Непонятно, как среагирует. Нет, не приду. Простимся, Дима, здесь, у меня. Да и не люблю я все это – пьяные и шумные компании, тосты дурацкие, перегляды и перешептывания».

А он был этому только рад: Тася на проводах – лишняя обуза. Будет вздыхать, как корова, и смотреть на него со щенячьей тоской.

Накануне, перед проводами, он ночевал у нее. И снова отчетливо понял, что нестерпимо хочет вырваться из ее горячих объятий, разомкнуть ее тонкие, но крепкие руки и забыть, забыть ее лицо – дело, увы, уже прошлое. Вот она, рядом, в сантиметре от него. Он слышит ее горячее и частое дыхание, ее волосы касаются его щеки, и он чувствует их земляничный запах, рука тянется к влажной от пота ложбинке, идущей от ключиц к груди, и это все еще волнует его. Но он понимает, что это прошлое. Уже прошлое, даже сегодня, сейчас, в их последнюю ночь. И закончится все это скоро, когда за окном затеплится, зарозовеет рассвет и он заторопится домой.

Утром Тася видела, что он спешит, понимала, что это побег, но не удерживала его. Рук не заламывала, не причитала. Только на крыльце, расшатанном и ветхом, в самые последние минуты их прощания чуть подольше, чем всегда, задержала объятия. Но быстро, поспешно отстранилась, почувствовав, что он уже далеко и что ему все равно.

По-братски, совсем по-братски, он чмокнул ее в щеку, с натужной неловкой и смущенной улыбкой пробормотал какую-то чушь, вроде держи хвост пистолетом и не скучай!

Она глубоко вздохнула.

– Я постараюсь.

Попробовала улыбнуться – не получилось, улыбка вышла жалкой и кривой. Он быстро пошел к калитке, но на выходе обернулся – на душе все-таки было погано. Задержался на секунду – только махнул рукой.

Тася снова кивнула, поежилась, поддернула платок на плечах и тоже махнула в ответ.

На следующий день он о ней забыл.

В Афган он, слава богу, не попал – служил под Москвой. Да и служба оказалась короткой. Через год и два месяца его комиссовали – язва. Мать и отец от счастья рыдали. Брат тоже был рад:

– Ну здорово, Димка! Вернулся.

А мать еще долго причитала:

– Живой! С руками, с ногами. А язва – да бог с ней, справимся!

И тут же горячо включилась в лечение: картофельный сок по утрам, льняное семя, склизкое, как медуза. И диета, диета: пюре, паровые котлеты, отварная курятина – словом, сплошная тоска. Хотелось махнуть к друзьям, выпить пива, наесться жирных шашлыков. Но нет, держался. С трудом, но держался. Правда,

здорово похудел.

– Кощей Бессмертный, – вздыхала мать. – Но ничего, отъешься! Главное – выздороветь.

К Тасе он пошел через недели три после возвращения, когда немножко пришел в себя. Увидев его, она ойкнула и залепетала:

– Дима! Вернулся!

И ее глаза, как всегда грустные и печальные, загорелись счастливым огнем.

Ну и снова пошло-поехало. Правда, теперь он ночевал у нее редко, раз в неделю, не чаще. И каждый раз, уходя, давал себе слово, что это в последний раз. Не нужно это ему, совсем не нужно. И уже неинтересно. Но опять возвращался. Молодой – куда денешься. Физиология!

Мать понимала, что он ходит к Тасе, и однажды решилась на разговор. Страшно робела, что было совсем на его языкастую и бойкую мать не похоже.

– Жениться не собираешься, Димка? А что? Пора. Хорошая женщина эта твоя Таисия. Я узнавала. Скромная, тихая. Свадьбу сыграем – мы с отцом кое-что подкопили!

Он обалдело посмотрел на мать.

– Мам, ты чего? Совсем уже? Какое жениться? Какая свадьба? Какое подкопили, мам? Ну вы даете! – Он никак не мог успокоиться. Возмущению не было предела. – Нет, вы совсем, мам! – повторял он. – Подкопили они!

Мать испуганно смотрела на него и пыталась оправдаться:

– А что здесь такого, сынок? Хорошая женщина, скромная, – повторяла она. – И симпатичная, кстати! К тому же учительница! А что из детдома, так даже хорошо, Дим! Никаких родственников, а то мало ли что? Всякие ведь бывают, и пьянь, и… – Мать осеклась и испуганно посмотрела на сына.

– Все, мам! – резко ответил он. – Все, дело закрыто! И вообще, большая просьба: больше таких разговоров не заводить, поняла?

Мать икнула от испуга и мелко закивала:

– Да, Дима! Больше – ни-ни! Просто я думала… Ну мы с отцом думали…

Громко хлопнув дверью, он вышел из комнаты. Была зима – снежная, метельная, морозная. А он впал в тоску – ничего не хотелось. На работу не устраивался, но мать и отец молчали, не спрашивали ни о чем – пусть отлежится и придет в себя после болезни и службы.

Валялся на диване, бренчал на гитаре, вяло пролистывал книжки – читать не хотелось. Даже любимого Конан Дойла взял с полки и бросил – тоска. Много спал, отъедался – словом, ленился, балдел. Тунеядствовал. Иван вернулся из армии и снова пошел на завод.

Брат приходил со смены грязный, усталый, но довольный. Много рассказывал про работу, перечислял какие-то фамилии, часто мелькало имя Петрович – начальник цеха, Павел Петрович, учитель, мастер и друг.

Этим Петровичем он восхищался. Отец поддерживал разговор, радостно переглядывался с матерью. Хоть один из парней нормальный – все у Ивана складно и ладно. Не то что у младшего, Димки. У того все не так и не эдак – и что с ним делать? А ничего – переждать. Это было их совместное решение. Авось к весне все поправится. А куда деваться? Жизнь-то идет, продолжается.

К Тасе он тогда не ходил – неохота. Вообще ничего неохота и снова сплошная тоска.

Закрыть бы глаза и никого не видеть – ни мать, ни отца, ни брата Ваньку. Подолгу стоял у окна и смотрел на двор – ничего интересного, все старо и знакомо, одни и те же лица. И опять накрывала тоска.

Те же бабки – соседки на лавочках покрикивают на внуков и сплетничают. Те же соседки, в небрежно, наспех накинутых на плечи пальто, в грубых шерстяных носках и тапочках, развешивают на морозе белье. А из-под пальто топорщатся и

нагло вылезают ночные рубахи и байковые халаты.

Медленно бредут усталые и равнодушные школьники, размахивая портфелями.

Кто-то тащит из магазина неподъемную сумку, откуда бесстыдно вываливается хвост мороженой рыбы или еще хуже – страшная оскаленная рыбья морда. Тоска. Вдалеке торчат, мозолят глаза, выплевывая сизый вонючий дым, темные заводские трубы.

Детвора катается с ледяной горки на самодельных картонных ледянках.

И самое главное, что все это будет всегда – без изменений! Те же бабки, та же детвора, та же рыбья морда из сумки. И те же трубы завода, вокруг которого крутится жизнь городка.

Но пришла весна, а за ней и лето, и Димка стал мало-помалу приходить в себя. Но тут начались бесконечные поездки на огороды – мать разводила картошку, свеклу и морковь, и ему было стыдно отказывать ей: сидит здоровый балбес на их шее и валяет дурака.

На огороде поставили сарайчик. «Домик дядюшки Тыквы», смеялся он. Кое-как втиснули их старый детский диванчик, стол и пару стульев – перекусить, выпить чаю да и просто прилечь отдохнуть.

Он часто оставался там ночевать, ехать домой не хотелось. Лежал на диванчике, закинув руки за голову, и смотрел в маленькое, подслеповатое окошко. На черном небе горели белые звезды. Висел узкий и острый серп молодого месяца. Ну все, ждать больше нечего – он уезжает. Вывез из дома учебники и стал заниматься, готовиться в институт. Родителям пока ничего не говорил – зачем расстраивать их раньше времени? А вот брату сказал, помня его старую обиду. Ванька, конечно, расстроился и принялся его отговаривать. Но не помогло. Настроен Димка был решительно, и чужие доводы не принимались.

С той поры, когда он принял твердое и окончательное решение, он снова стал бодрым, веселым. Тоски и печали как не бывало.

Родители радовались и вопросов не задавали – молча переглядывались и осторожно улыбались: ну наконец-то! Пришел парень в норму. А он отводил глаза – было стыдно. Стыдно скрывать, стыдно обманывать. Но ничего, переживут как-нибудь, он их одних не бросает – с ними остается Ванька, надежный, серьезный, заботливый.

В июле Димка собрал вещи, собрался с духом и решился на разговор – тянуть было нечего, подступало время отъезда.

Вот тогда-то он и встретил Тасю – совершенно случайно, на автобусной остановке, лицом к лицу. Не укрыться и не сбежать. Увидев его, она побледнела и дернулась. Обернулась, ища укрытия. Какое там!

Он, тоже смутившись, немного скривился и подошел.

Разговор был дежурный, обычный:

– Как ты? Ну и вообще – какие новости?

Тася стояла с опущенными глазами и монотонно, тихим голосом повторяла:

– Все нормально, все по-прежнему, все хорошо.

Он старался говорить бодро, но был смущен и здорово робел, даже струхнул. Понимал, что поступил с ней некрасиво.

Увидев у ее ног сумку – большущую, видимо, тяжеленную, перехватил ее смущенный взгляд.

– Учебники, – объяснила она. – Вот, заказала, с почты несу.

Он тяжело вздохнул.

– Ну давай помогу. Нехорошо как-то женщине тащить такую тяжесть.

Тася пробовала возражать, пыталась вырвать сумку, но не получилось. И она засеменила за ним. У ее дома остановились.

– Может, зайдешь? – одними губами спросила она, жадно разглядывая его лицо.

Он растерялся и что-то замямлил. Но она, на удивление, была настойчива. Не просила, а даже требовала.

Ну и зашел, что уж там.

Потом он курил и смотрел в потолок, а она лежала рядом, уткнувшись мокрым от слез лицом в его плечо. Молчали. Наконец она сказала. Не спросила, а именно уверенно сказала:

– Уезжаешь. Я понимаю. Нет, правда, я все понимаю! Я бы сама… уехала. Сбежала отсюда. К черту на кулички бы сбежала!

Он почувствовал, как напряглись мышцы – спина, руки, ноги, живот.

– Сбежала бы? – удивленно, дрогнувшим от волнения голосом повторила он за ней.

Она закивала.

– Странно, – пожал он плечом. – А я думал, ты всем довольна.

Про себя он так и не ответил. Ничего не сказал, ни слова – не подтвердил и не опровергнул. И с собой ее не позвал.

Она легко выбралась из-под тяжести его руки, встала с кровати, накинула халат и делано улыбнулась.

– Чаю хочешь, Дима? Или что-то поесть?

– Нет, – коротко бросил он и тоже поднялся с кровати, – спасибо.

Быстро оделся и вышел в сени. Увидел, как она стоит на кухне и смотрит в окно.

Не подошел. От двери бросил:

– Ну, я пошел!

Она ничего не ответила.

Через восемь дней он уехал в Москву.

С родителями, кстати, обошлось – сам не ожидал. Мать собрала его в дорогу, напекла пирожков: «С картошкой, Дим! И с капустой. Утром поешь, не испортятся!»

Вообще в те дни разговаривали мало. Молчал отец, молча вздыхала мать, вытирая украдкой слезы. Молчал и Ванька, отводил глаза.

А Никитин мечтал об одном – поскорее сесть в поезд и помахать им рукой. «Поскорее, пожалуйста», – торопил он словно застывшее время. Слишком тягостно все это было. И слишком больно.

В провожатые вызвались отец и брат. Мать осталась дома.

На перроне обнялись – всё молча, отведя глаза. Последние слова отца: «Не забывай. Пиши. Или звони».

Брат похлопал его по плечу и подхватил чемодан.

Никитин шагнул на ступеньку вагона. Войдя внутрь, задвинул чемодан под койку и подошел к окну. Отец и брат жадно вглядывались в мутноватое вагонное окно. Увидев его, обрадовались, словно он не уезжал, а только приехал. Помахали друг другу, и поезд, злобно пыхнув паром и сурово лязгнув колесами, медленно тронулся.

«Наконец то! – выдохнул Никитин. – Наконец все закончилось. И все начинается! Вот сегодня, здесь, в поезде, в убогом и грязном плацкартном вагоне».

В этот день, двадцать пятого июля, начинается новая жизнь. Он свободен.

В институт он поступил довольно легко – правда, для начала узнал, в каком из московских вузов поменьше конкурс. Вторая попытка должна быть точно успешной. Прошел во втуз, при заводе ЗИЛ – попасть туда было несложно. Провал невозможен, как говорил Штирлиц. Ванька, брат, добрая душа, подкинул немного деньжат – из тех, что скопил на отпуск.

Никитин взял, но твердо дал обещание, что деньги вернет. Ванька отмахнулся:

– Давай уж! Не подведи.

Деньги тратил с крестьянской осторожностью, экономя на всем, – в обед в дешевой рабочей столовой позволял себе только первое. Помогал хлеб с горчицей. «Ничего, перекантуюсь, – утешал он себя. – Вот стану получать стипендию и заживу! А дальше найду подработку». Работы он не боялся.

Институт был непрестижный, но какая разница? Понятно, что в модные и престижные МГИМО и университет его не возьмут. Главное – устроиться потом, после диплома. А уж он постарается, будьте уверены.

При поступлении помогла и Советская армия, спасибо ей: отслуживших принимали охотнее, выделили комнату в общежитии. Располагалось оно на самой окраине, у Кольцевой. Да и ладно, какая разница? Главное, что есть угол. Или точнее – койка и тумбочка.

Здание общаги было старым и страшно обшарпанным. Со стен и потолков свисали клочья штукатурки – не дай бог рухнет на голову. В туалетах текли бачки, в раковинах навечно застыли ржавые дорожки, а на кухне коптила газовая плита и пахло дешевой едой.

На первом этаже жили парни, а на втором – девушки. Так было задумано – наивная администрация считала, что на второй этаж молодым и похотливым самцам будет труднее залезть. Но все равно залезали – попробуй останови!

В комнате, выделенной Никитину, стояли три койки. Его и двух парней – абитуриента Володьки Соколова из далекого Ижевска и третьекурсника Саида

Валямова, жившего раньше в селе под Саратовом.

С Володькой контакт наладили сразу, а вот с хмурым Саидом быстро не получилось. Но жили мирно, без скандалов. По вечерам Саид уходил на халтуру – разгружать машины на овощной базе. Приходил под утро и со стоном падал в кровать. Конечно же, просыпал первые пары. Соседи думали, что он просто жадный, – иначе зачем так ломаться? Ночным грузчикам платили хорошо, от семи рублей до десятки. Раз в неделю вполне достаточно – тридцатка плюс стипуха, живи не хочу! А этот? Ломается, надрывается, ходит злой как собака и на всем экономит. Наверное, копит.

Но все оказалось не так – через полгода узнали, что Саид отправляет деньги родне в деревню – больной матери и инвалиду отцу. Вот и думай о человеке плохо. Устыдились. Иногда Саид брал их с собой. Разгружали картошку, капусту, морковь и свеклу. Капуста гнила и отвратительно, нестерпимо воняла. Завязывали шарфы на лицо – и вперед. Пару раз попадали на фрукты, и это был праздник. Яблоки, груши – все недозрелое, мелкое, но все равно радость. Ими набивали карманы и сетки-авоськи. Начальство на это закрывало глаза: все понимали, что студенты, ясное дело, едят не досыта. Да и чего жалеть-то – все не свое, государственное.

С учебой справлялись легко. После стипендии позволяли себе поехать на ВДНХ, развлечься и съесть шашлык. Кадрились к девчонкам, провожались до ночи и до синих губ целовались в подъездах.

Володька отвалился первым – на втором курсе у него появилась девушка Наташа с соседнего факультета. Ну и пропадал Володька у своей любимой.

Никитин звонил в Н. редко, примерно раз в месяц. Разговор с матерью или отцом был сухим и коротким:

– Все нормально?

– Нормально.

– Здоров?

– Да.

– Как питаешься? Не голодаешь?

– Питаюсь отлично.

Мать всхлипывала, причитала, а однажды полушепотом, по секрету, сообщила, что у брата Ваньки наконец появилась девушка – хорошая девушка, скромная. Работает в бухгалтерии при заводе. Дай только бог, чтобы не разбежались и поженились! Ванька у нас бирюк, Дима! Об этом все знают.

Спрашивали, когда он приедет.

– На Новый год?

– Нет, мама. Не получится. Едем в студенческий лагерь.

– Ну уж летом-то, на каникулы, а, сын? – заискивающе спрашивала она.

– Посмотрим, – сдержанно отвечал он, – если получится.

Обещал, но не получилось – в июле, после летней сессии, поехал на халтурку с Володькой и Саидом строить коровники в Калининской области, под Ржевом. А в августе, «срубив деньгу», вместе с Володькой и Наташей решили махнуть на море. Никитин сопротивлялся и кокетничал:

– А я вам зачем? И без меня не загрустите! Да и что я один? Как тень отца Гамлета!

Наташа обещала прихватить подружку Марину. Незнакомая Марина училась в педучилище и жила где-то в Химках. Наташа показала ее фотографию – конопатая и сильно курносая, она ему не понравилась.

– На безрыбье и рак рыба, – философски заключил Володька. – А не понравится, найдешь себе чувиху на месте. Какие у тебя обязательства?

На том и порешили. Да и вообще, какая разница: Марина, не Марина? Главное – море! А он на него заработал.

Настроение портила перспектива объясняться с родителями, и это, конечно, угнетало. Нет, понимал, что нехорошо. А что делать? Не ехать на море? В конце концов, они там не одни! Решил позвонить Ивану. Он в семье дипломат, как-нибудь нерадивого братца отмажет. Ванька всегда его выручал. Ну и заодно расспросил про невесту.

Невесту звали Тамарой, Томкой, как называл ее брат.

– Красивая – раз, – перечислял Ванька, – фигуристая – два! Хозяйственная – три! Не веришь? Честное слово! Такие блины напекла, даже мама расчувствовалась. А уж чтобы наша мама… Ну ты понимаешь! Жениться? А что? От добра, Дим, добра не ищут! И к тому же, – Ванька смутился, – любовь у нас, брат!

А после короткого Димкиного смешка со вздохом спросил:

– На свадьбу приедешь? Или опять дела?

Никитин горячо заверил брата, что обязательно приедет – какие уж тут сомнения и вообще разговоры?

* * *

Десятого августа сели в поезд, везущий их в рай. Никитин был абсолютно уверен, что в рай. На море он еще не был.

Конопатая и курносая Марина, «не нос, а сапог», хмуро подметил Никитин, все время молчала и нарочито внимательно смотрела в окно. Володька подмигивал другу, но Никитин уверенно мотал головой:

– Не, не думай и не уговаривай. Не мой вариант.

Приехали в маленький поселок и прямо на берегу сняли сарай для лодок – продувной, с земляным полом, на котором были небрежно разбросаны рваные

соломенные циновки. С потолка свисала лампочка Ильича. По стенам стояли железные кровати, на которых лежало серое, застиранное белье. Стол и четыре стула. Устраивайтесь, если подходит, а нет – до свидания!

Сарай был разделен на две комнатухи. Посередине, четко пополам, покачивалась от ветра условная стена из фанеры.

– Да уж, апартаменты! – презрительно хмыкнула Марина.

Толстенная, смуглая до черноты тетка, жена рыбака и хозяйка сарая, не выпуская изо рта «Беломор», смотрела на них с недоброй насмешкой. Сразу видно, что ободранцы. Студенты – что с них взять? Пусть будут рады и этому. За весь сарай брали копейки – три рубля в сутки. Попробуй найди дешевле! Все просили не меньше двух рублей с носа за койку, да и то далеко от моря. А здесь на самом берегу! Да вообще можно спать под открытым небом и слушать прибой.

Девчонки, конечно, вздыхали. А парням все нравилось – красота! Конечно, они согласились – а куда было деваться? Денег и вправду было немного – перед отъездом на море здорово приоделись: купили джинсы у спекулянтов, модные трикотажные батники и даже кроссовки «Адидас» – правда, наши, отечественные, но все равно красота. Клево, как говорится.

Усмехнувшись, хозяйка принесла керогаз и огромный, закопченный алюминиевый чайник, который посоветовала кипятить на костре. Выдала еще по одному одеялу – вдруг мерзлявые? Ну и немного посуды. И заключила:

– Живите! Еще спасибо скажете!

Никитин попросил у хозяйки веревку и большую простыню – разделить их с Мариной «комнату».

Хозяйка приподняла смоляные широкие брови:

– Поссорились, что ли? А, вы не пара, вы – так?

Марина недовольно фыркнула и скривила губы:

– Какая там пара? Вот с этим?

И презрительно посмотрела на непрошеного соседа.

«Да и черт с тобой! – весело подумал Никитин. – Больно ты мне нужна! Тоже мне, красавица! И не таких видали».

Кое-как обустроились. Девчонки даже умудрялись варить суп на вонючем, немыслимо долго разгорающемся керогазе. На костерке кипятили чай и пили его бесконечно, с хлебом и плавлеными сырками, – пожалуй, единственным, что было в изобилии в местных магазинах. Зато хлеб, серый, пышный, ноздреватый, с еле заметной кислинкой, был отменно свежим и восхитительным. На «десерт» объедались печеньем, щедро намазанным сливовым повидлом – местным «специалитетом», продававшимся в двухкилограммовых жестяных банках, которые легко вскрывались ножом.

Словом, не голодали.

Хозяева оказались цыганами. Василий, глава семьи и кормилец, тоже смоляной, черный как сажа, прокопченный, узкий и тощий, словно высохший на солнце и на ветру, оказался мужиком молчаливым – слова не вытянешь. Но к квартирантам по вечерам заходил и молча пил чай, не выпуская изо рта смятую папиросу. Иногда выпивали бутылку портвейна.

Но как-то разговорился и поведал гостям, что с Донкой своей из табора они сбежали – не хотели мотаться по городам и весям. От родни скрывались долго, боялись, что их обнаружат. Цыганская почта – дело серьезное. Прятались пару лет, ну а потом притулились здесь, на теплом море. Кое-как построили дом – ребята называли его «дом рыбака». Ну и зажили с божьей помощью.

– Всю жизнь здесь прожили и ни разу – ни разу! – Василий угрожающе глянул на ребят, будто ждал, что они будут спорить. – Ни разу не пожалели, что сбежали тогда!

Зимой, когда наступали холода и выл злой и протяжный ветер, уезжали к дочери в город. Единственной дочерью очень гордились – еще бы! Простая цыганка, а выучилась на врача! Такая вот умница.

Каждое утро, чуть занимался рассвет, хмурый, молчаливый Василий уходил в море. Возвращался к восьми утра. На берегу, вглядываясь в даль, ждала его Донка, жена. Лодка причаливала к берегу, Василий привязывал ее за кол, молча проходил мимо жены и шел спать. Хозяйка тоже молчала, провожая его взглядом. Муж заходил в дом, а она принималась сортировать рыбу – надо было еще успеть на базар. Иногда из соседних домов приходили отдыхающие – обгоревшие, полусонные, в шортах и купальниках, – и брали у Донки рыбу. В те дни она оставалась довольной – поездка на рынок отменялась. А если после продажи оставалась какая-то незначительная рыбешка, Донка ставила перед ребятами старый эмалированный таз – дескать, вот вам подарок. И они, конечно же, радовались: на обед будет свежая рыбка.

Да и вообще было счастье – одно сплошное и невозможное счастье.

Рано утром, едва проснувшись, Никитин как ошпаренный выскакивал из сарая и с громким гиканьем мчался вперед – скорее, скорее! Скорее нырнуть, нырнуть с головой, глотнуть соленой воды! А потом выскочить на берег, где еще не начало припекать коварное солнце, наспех обтереться полотенцем и приняться за костер. Очень хотелось есть! Схватить, оторвать огромный ломоть хлеба, в котором застряли скрипучие мелкие песчинки, руками разломать спелый, сладчайший, огромный помидор, посыпать его крупной серой солью, куснуть, блаженно прикрыть глаза и снова почувствовать себя самым счастливым на свете.

«Молодые», как с иронией называл Никитин Наташу и Володьку, просыпались поздно, часам к десяти. Из сарайчика выползали нехотя, заспанные и припухшие. Никитин еле сдерживал улыбку – ясное дело, не спали всю ночь. Их возню и пришептывания было слышно отлично – фанерная перегородка «молодых» не смущала. А «эта дура» – так про себя он называл рыжую Марину, – как всегда, появлялась с недовольной миной на хмуром лице.

Все трое переглядывались. Какой же занудой оказалась эта Марина! Не нравилось ей все, буквально все – и их временное жилище, и суровая Донка, и ее вечно хмурый Василий. Море было «противным и теплым, как вода в ванне», помидоры – сладчайшие и вкуснейшие – кислыми, жареная рыба воняла, а песок был колючим и грязным.

Все ее еле терпели, настроение она портила здорово. Но деваться было некуда, только Наташа то и дело извинялась перед Никитиным. Да и Володька

оправдывался:

– Ну кто ж знал, брат? Зато почти москвичка, с квартирой. Нет, ты присмотрись! Может, она такая, потому что на что-то рассчитывала?

Никитин тогда разозлился:

– Рассчитывала? На что? Москвичка с квартирой? Да лучше кантоваться на вокзале или вернуться на родину, чем жить с этой занудой и уродиной!

От случайной рифмы оба не выдержали и заржали. Мир был восстановлен.

В первые же дни Никитин здорово обгорел – торчал на море до вечера. Тело, покрытое волдырями, горело и нестерпимо болело – не вздохнуть, не перевернуться. Хозяйка, качая головой, поделилась прокисшей простоквашей – лучшее средство.

– Мажь давай! – сурово приказала она перепуганной Марине. – Ишь расселась, а человек помирает!

Выхода не было – «молодые» удрали в кино. Пришлось Марине оказать ему первую помощь. Никитин поморщился, когда она осторожно присела на край его койки.

– Осторожнее, слышишь?

Никитин напрягся и приготовился к самому страшному. Но руки у Марины оказались почти невесомыми – мазала она его осторожно, аккуратно и даже нежно. Никитин тихо постанывал. Намазав, она, почти неслышно, пристроилась рядом. Никитин вздрогнул, с тихим стоном от нее отодвинулся и, измученный, тут же уснул. Наутро Марина перестала с ним разговаривать – он понял, что надежд ее не оправдал, и ему стало смешно.

Но все хорошее, как известно, быстро заканчивается, и время пролетело почти мгновенно – пора было собираться домой. В последний день солидно закупились на рынке – набрали мохнатых розовобоких персиков, фиолетового, почти прозрачного, винограда, желтых янтарных груш.

Хмурый Василий протянул на прощание четыре вязанки соленой рыбки.

– Под пиво, – коротко бросил он и, не прощаясь, пошел в дом.

В поезд уселись довольные. Повезло: на вокзале прихватили пива. Эх, да под рыбку! Красота!

Марина в трапезе не участвовала – подперев голову, с недовольным видом смотрела в окно. Но всем было наплевать на эту зануду – скорее бы с ней распрощаться!

До занятий оставалось четыре дня, и в это время в Москве появился Иван.

Слава богу, что поймал, перехватил брата в общаге. Могли бы разминуться, не встретиться.

В маленькой и заставленной барахлом комнатке крупный, неуклюжий Иван смотрелся нелепо. Никитин поставил чайник и смущенно уселся напротив:

– Ну, брат! Что слышно? Рассказывай!

Оказалось, что слышно многое. Например, Иван и Тамара подали заявление и назначили свадьбу.

– К Новому году, как я тебе говорил!

– Где?

– Да в кафе на вокзале, а где же еще? – смущенно буркнул Иван. И, подняв глаза и смущаясь, тихо спросил: – Приедешь?

Димка заверил, что да, как иначе? Видел, как рад – нет, как счастлив – Иван.

Вспомнив и хлопнув себя по лбу: «Вот дуралей!» – брат стал выгружать из старого рюкзака гостинцы: три банки с вареньем, шмат сала с рынка и банку сметаны, желтой, густой, словно масло, хоть ножом режь. Оттуда же, с рынка.

Иван торопился. В столицу приехал на один день – работа. Завтра в смену.

– Зачем приехал? – поинтересовался Димка.

– Да кольца купить, обручальные кольца.

– Достал?

Иван грустно развел руками:

– Да ну… Те, что есть – тяжелые, толстые и дорогие. А Томка хотела тоненькое. Правда, мать возмущалась: «Тонкое? Что мы, не можем купить нормальное? Что скажут люди? Никитины сэкономили на старшем сыне?» Вот и не знаю, что делать. – Иван был явно расстроен.

– Поехали! – решительно сказал Димка. – Разберемся!

Иван покорно кивнул и всю дорогу с уважением посматривал на младшенького: «Видно, освоился в этой Москве. Не то что я, недотепа».

Никитин и вправду освоился – подкатил к продавщице, симпатичной девахе с густо накрашенными угольными ресницами, что-то ей пошептал, и та, покраснев и оглянувшись, осторожно вытащила два тоненьких, изящных колечка. Ванька, вспыхнув от радости, горячо благодарил младшего брата. И еще – искренне восхитился им.

До поезда оставалась пара часов, и довольный Никитин пригласил старшего брата поужинать.

Сунув деньги в карман напыщенному, словно гусак, швейцару, легко проскочили в ресторан. Уткнувшись в меню, Ванька замер от ужаса:

– Ну и цены у вас!

Младший засмеялся:

– Москва! – И заказал на свой вкус, поняв, что ошарашенный Иван никак не решится.

Заиграла музыка, и обалдевший Иван принялся глядеть по сторонам – какие девицы, мама дорогая! А юбочки? Ну до пупа! Вот бесстыжие, а? А каблуки? И как они на них вообще ходят? А боевой раскрас, как у вождя индейского племени? А сигареты в зубах? Буквально у всех, поголовно!

И было непонятно, восхищается он или осуждает столичных девиц.

– Нет, это не для меня! – качал он головой. – Не для меня твоя столица, я бы не смог!

В глазах его стояли изумление, растерянность и все-таки восхищение. Скорее бы домой, в тишину и покой, где все неторопливо, как он привык. И конечно, спешил Иван к своей зазнобе, к невесте. А она у него, между прочим… Да лучше и не найти! Золотая у него Томка, чего там. Куда им, всем этим?

Димка проводил брата до вокзала. На перроне обнялись.

– Когда приедешь-то? – спросил Иван. – Только на свадьбу? Мать-то скучает. Да и батя тоже.

Никитин горячо заверил, что на свадьбе он точно будет, а раньше не выйдет – учеба.

Махнув рукой уходящему поезду, с облегчением выдохнул: слава богу, помог брату, угостил, проводил. И… «Черт, дурак! Нет, идиот – надо же было послать что-нибудь родителям! Конфеты, например! Или духи матери. А отцу бутылку или что-то еще. Не сообразил».

Ругая себя последними словами, поплелся в общагу. Ну ничего! Можно исправить – послать по почте или с проводником. Успокоив себя, он бодро зашагал к метро.

И именно в тот день встретил Тату.

Он зашел в полупустой вагон – к десяти вечера народ рассосался – и плюхнулся на свободное место. Напротив сидела девушка. Никитин вздрогнул и уставился на нее. Она, заметив его взгляд, равнодушно посмотрела на него, как на мебель или фонарный столб, и во взгляде ее читалось сплошное презрение.

Смутившись, Никитин все равно продолжал пялиться. Девушка обдала его насмешливым взглядом, фыркнула, демонстративно поднялась с места и направилась к двери, на выход.

Никитин, сбросив оцепенение, бросился вслед за ней. Только бы не упустить! Но девушка в голубой кружевной кофте исчезла, растворилась в толпе. Он бросился к эскалатору и тут наконец увидел ее и заторопился, почти побежал, чтобы снова не потерять. Настиг он ее на улице, но подойти не решился, просто отправился следом с пересохшим от волнения ртом, и сердце его колотилось как набат – бух, бух, бух. Крался осторожно, оглядываясь, как заправский шпион. Ну или как полный дурак.

Спустя много лет, когда их семейная жизнь окончательно развалилась и порядком осточертела им обоим, но в первую очередь ему самому, он вспоминал этот день и их первую встречу. Глядя на нынешнюю Тату, отекшую и словно разбухшую, он силился вспомнить ту девочку в голубой кружевной распашонке и в джинсах, в джинсовых сабо с вышитыми цветочками, полногрудую, светлоглазую, с копной волнистых густых волос, с насмешливым взглядом, уверенную в себе, невозможно уверенную москвичку. Но помнилось плохо. Прошло много времени, и все слилось, перемешалось в голове. Слишком много было всего, плохого и даже ужасного, нелепого и страшного? Да. Очень уж дурацкой, нелепой и несчастливой получилась их совместная жизнь. А тогда она и вправду была хороша. Не зря же он завелся.

Куда все потом подевалось, господи? Конечно, никто не молодеет и не становится краше – возраст никому не идет. С годами Никитин тоже поправился и даже обрюзг, тщательно маскировал свой приличный животик под свободными рубашками и свитерами, полысел, растерял пышную шевелюру, пытаясь прикрыть перед зеркалом и эту неприятность. Недовольно морщась по утрам, разглядывая себя в зеркале в ванной. Но Тата! Красавица Тата, вечно желанная Тата! Где ты, ау!

Но это случилось много позже. А тогда у подъезда добротного дома из красного кирпича она обернулась.

– Ну что? И долго все это будет продолжаться?

Никитин стоял в двух метрах от нее и молчал. Молчал как пень, как каменный истукан с острова Пасхи. Молчал как полный идиот и законченный кретин.

Она усмехнулась и продолжала в упор, без стеснения, разглядывать незадачливого ухажера.

– Ты что, маньяк? – Она нахмурила брови.

Он закачал головой.

– Глухонемой? – с деланым удивлением протянула она.

– Нет, – с трудом выдавил Никитин.

– А, все слышишь и говорить умеешь! Ну и вали тогда. В смысле – проваливай! Тебе здесь не светит, усек? – Она окинула его брезгливым взглядом и зашла в подъезд, громко хлопнув тяжелой дверью.

Никитин караулил ее две недели – мотался по двору, зеленому, ухоженному, пышно засаженному кустарниками и цветами. Суровая дворничиха с вечной метлой провожала его настороженным взглядом.

Но вот Тата вышла из подъезда и, увидев его, удивленно вскинула брови.

– А, маньяк! Решил брать измором?

Он развел руками: дескать, а что делать-то? И выдавил из себя жалкую улыбочку, словно одалживался. Впрочем, впоследствии они и правда общались так, будто он вечно что-то жалобно клянчил у нее. А она с вечной усталостью и неохотой делала одолжение.

– Слушай, – недовольно проговорила она. – Я же сказала – хватит. У тебя ничего не получится, слышишь? Вот и заруби у себя на носу: ни-че-го! – по складам повторила она и, вскинув голову, гордо пошла вперед, но вдруг обернулась: – А

будешь торчать здесь, – она смерила его снисходительным и в то же время презрительным взглядом, – заявлю в милицию! Скажу, что преследуешь!

Почему он не обратил внимания на эту угрозу? Ведь кое-что бы стало понятно.

Но он не сдавался и снова «торчал». Ну и выторчал. Ему повезло.

Он проводил свой досуг, как всегда, у ее подъезда. И однажды услышал знакомый голос:

– Эй! Эй, ты! Озабоченный!

Он поднял голову и в окне третьего этажа увидел ее. Она махнула рукой:

– Поднимись!

Никитин, как подраненный, одним махом, в секунду, влетел на третий этаж, чувствуя, как вот сейчас, в эту минуту, у него остановится сердце. Дверь была открыта, и на пороге стояла Тата – непричесанная, в смешной детской пижаме и с перевязанным горлом.

– Болею, – прохрипела она, – родители в отпуске. В аптеку слетаешь? – И протянула ему рецепт.

А он радостно, словно нашел пиратский клад, закивал головой как китайский болванчик.

– А за молоком? – спросила она.

Не стирая улыбки, он снова кивнул и бросился вниз по лестнице.

– И меда возьми! – прохрипела она ему вслед. – Обязательно меда!

С аптекой было просто, с молоком тоже. А вот за медом пришлось побегать. Наконец уцепил пол-литровую банку и, счастливый, помчался обратно. Открыв дверь и взяв покупки, Тата сказала «спасибо» и громко захлопнула дверь перед

его носом. И как не прищемила?

Он вздрогнул от неожиданности, но не расстроился – первый шаг был сделан, и сделан успешно! А тут и до второго недалеко! К тому же она болеет, а значит, есть повод! Да и родителей нет – что тоже плюс.

Словно на крыльях он рванул в общагу. Нужно срочно найти Саида и попроситься на вечернюю халтуру на овощную базу. Нужны деньги на фрукты и на всякое такое, что покупают больным. Правда, что именно, это нужно еще уточнить.

Три ночи подряд он пахал на базе – картошка, капуста, морковь. Приходил под утро и заваливался спать – конечно, лекции пропускал. Какие лекции, когда язык не ворочается?

А днем, отоспавшись, ехал на Фрунзенскую, к Тате, предварительно заскочив на Центральный рынок.

Армянские белые персики по кошмарной цене, абхазские лимоны – яркие, оранжевые, тонкокорые, невозможно сочные и ароматные. Огромные крымские яблоки, краснобокие и блестящие, так не похожие на подмосковные. Крымские груши, размером со средний футбольный мяч. Нежный, розоватый от сливок домашний творог, желтоватое пахучее козье молоко в стеклянных бутылках. Треугольнички деревенского масла со «слезой», завернутые в чистейшую марлю. И домашняя курица – желтая от жира, с пупырчатой кожей и длинной, «жирафьей», шеей, на которой болталась голова с бледным гребешком и полузакрытыми глазами – на лечебный бульон. Все это, как его научили умные люди, необходимо больному.

Он стоял под Татиной дверью и прислушивался к звукам в квартире. Но дверь была тяжелой, солидной – из-за нее не доносилось ни звука.

Он долго топтался у солидной двери, а потом звонил. Она открывала, молча забирала у него сумки. Перед тем как захлопнуть дверь, сухо и сдержанно, словно вспомнив, коротко бросала сухое «спасибо».

А он был счастлив! Дурак. Каким непроглядным он был дураком! Кретин без чести и гордости. Правильно, за что его уважать?

Он звонил ей каждый день и интересовался здоровьем. Уточнял, какие просьбы будут сегодня.

А спустя восемь дней, когда ей стало полегче, она его жестко отшила:

– Все, свободен. Приехали родаки. Я под наблюдением. Как же бездарно дни пролетели, и все, свобода закончилась, – горестно вздохнула она. – Ладно, давай! – И бросила трубку.

Как же, «давай»! Нет, теперь уж он точно от нее не отступит. А может, он и вправду маньяк?

Но настал и тот день, когда Тата согласилась прий-ти на свидание.

– Выходил, – засмеялась она, – ты меня выходил! Вот ведь упрямый баран!

На барана он не обиделся – главное было сделано. В общем, понеслось – она уступила. Никитин совершенно забросил учебу – черт с ней, с учебой! Дела у него были куда важнее – Тата. Он встречал ее у института, они шли в кино или в кафе – слава богу, деньги он, спасибо Саиду, зарабатывал. Осень выдалась теплой, сухой и безветренной. Разноцветные листья держались на ветках долго, почти до самого ноября. «Погода для влюбленных, – думал он, – романтическая, красивая, теплая».

С Таты почти слетели спесь и гонор – теперь она казалась ему спокойной и нежной. Они подолгу торчали в подъездах, усаживались на широкие каменные подоконники и без конца целовались.

– Выходи за меня! – однажды осмелился он.

У нее вытянулось лицо от такой наглости. Справившись со своим возмущением, она ответила:

– Шутишь? Ты на втором курсе, я на первом. Денег у тебя нет и не предвидится. Куда ты меня приведешь? К себе в общежитие? Нет, ты окончательно спятил! Придет же в голову, а? Нет, даже не думай. К тому же мои предки. Ты думаешь, они обрадуются? Студент, лимита, без кола и двора. Дима, забудь. Забудь и

успокойся. Сейчас точно нет. А как будет потом… Вот честно – не знаю. – Она посмотрела ему в глаза и повторила: – Забудь.

Никитин не расстроился, что ж, она права. Он и не надеялся – что она, дура? Но одна ее фраза сделала его бесконечно счастливым: «А как будет потом…» Ну и ладно. Мы подождем. Мы терпеливые. Главное, что окончательно не отмела. Не сказала, что невозможно. Что никогда. А там посмотрим, чья возьмет. Он был уверен, что возьмет его, – другой вариант он не рассматривал.

* * *

Спустя годы Никитин думал: «Где были мои глаза? Где? Как я не разглядел в ней обычную девицу, примитивную мещанку, склонную к истерикам и претензиям. Человека холодного, прагматичного, даже безжалостного? Лишенного чувства сострадания и любви? Ее мать, отец, Лида. Как она обошлась с ними? Как я попался – так мелко, так дешево? Чем она взяла меня, чем потрясла? Чем околдовала? «Столичностью»? Мнимой светскостью? Раскованностью и цинизмом? Или смелостью? Казалось, ей все нипочем».

И правда, его, закомплексованного провинциала, поражали ее смелость, раскованность и нахальство, переходящее в наглость. Она умела поставить на место хамоватого официанта, нелюбезную продавщицу и неотесанного таксиста. «Москвичка, – с восторгом думал он, – потому и такая». Обладать такой женщиной? Такие ведь созданы не для таких простаков вроде него. У них другие мужчины! И кавалеры другие. Ну и, конечно же, он был влюблен. А здесь, как известно, разум отключается. Во всяком случае, в его возрасте.

В том, что Тата была истинной дочерью своих родителей, Никитин убедился позднее. Да, именно так – дочь своих родителей, взявшая от них все «лучшее». Но разве она виновата? Вскоре, примерно через год после их поспешной свадьбы, понял он и все остальное – в том числе и то, почему, собственно, она за него вышла.

Назло. Назло матери. Назло той, кого ненавидела. На, получи! Хотела богатого жениха? Москвича из приличной семьи? Из нашего круга? Ха! Получи нищего провинциала, сына «рабочего и колхозницы», студента обычного, затрапезного вуза – ни кола ни двора! Вот тебе, на!

У нее, его жены, а тогда еще невесты, был тяжелый и затяжной конфликт с матерью – такой долгий, что, кажется, все забыли про то, что бывает иначе.

Скандалы в семье были делом обыденным, повседневным и даже почти обязательным. Без них не обходились ни одно утро, ни один вечер. Кажется, обе ждали, кто начнет первой. А если вдруг было странно тихо, обе начинали прислушиваться – когда, кто начнет? Непорядок! Как правило, первой начинала Татина мать, его «дорогая» теща Галина Ивановна. Ну а Тата моментально обрадованно и оживленно включалась. А! Наконец-то! Это были стиль, привычка – просто сама жизнь. Если случалось, что дома присутствовал глава семьи и «хозяин», как с сарказмом называла его милейшая Галюнечка, то обороты немного сбавляли. Нет, его никто не боялся – смешно! Но его тревожная и некрасивая суета, попытки помирить «своих девочек», беготня от одной к другой, из комнаты в комнату, с мольбой прекратить «безобразие» раздражали безмерно – он им мешал. И обе, кстати, ловили себя на подленькой мыслишке, что поддразнивать папашу им очень приятно.

Галина Ивановна была женщиной яркой и броской. Довольно высокая, ширококостная, крупная, статная, с красивым, породистым лицом, большими, с поволокой, темными глазами, крупным, ярким ртом, носом с еле заметной, «римской» горбинкой и прекрасными густыми темными волосами – дворянские корни.

Впечатление Галина Ивановна производила, этого не отнять. Но при встрече с ней невольно хотелось посторониться, уйти на обочину. Такая сметет! Несмотря на аристократическое происхождение, была она скандальной, грубой, кичливой бабой. Говорила, что гордая. Какая там гордость? Сплошная гордыня. Матерью была никакой, но мечтала о выгодной партии для дочери: как же, семья дипломатов! Любимые фразы – «человек из нашего круга», «человек не нашего круга», «не нашего поля ягода». Остальные все презирались – обслуга. Но про свои корни, про своих предков отмалчивалась: Тата смеялась, что дед и бабка по матери были обычными торгашами, держали скобяную лавку на Малаховском рынке, и дворянское происхождение – очередная мамашина выдумка.

Однажды Никитин подумал, что никогда, ни разу в жизни, не видел, чтобы его теща улыбалась. Такое бывает? Сурово поджатые губы, сигарета, вечно насупленные брови, тяжелый и недовольный, пристально изучающий взгляд. Казалось, Галина Ивановна всех подозревает, всех и во всем.

По дому она ходила в теплом, тяжелом бархатном халате, зима ли, лето – всегда. И в простых деревенских, серых, крупной вязки шерстяных носках.

– Дворянка! – шипела дочь. – Вот так все и открывается!

Но при этих халате и носках, при этом не самом презентабельном виде колец своих, серег и браслетов она никогда не снимала, боялась, что украдут. В доме и вправду бывало много посторонних – массажистка, косметичка, прислуга, кухарка. Частенько заходил врач – к своему драгоценному здоровью Галюнечка относилась с трепетом. Врача из спецполиклиники вызывали по самому незначительному поводу.

Позже Никитин понял – и тещина неврастения, и вечная подозрительность, и наверняка застарелая депрессия да и плюс поганый характер легко объяснялись. Мужа своего и «хозяина» Галина Ивановна ненавидела. Судьба ее была незавидной – при всем внешнем благополучии и несомненном достатке, о которых и не мечтали рядовые жители Советской страны.

В далекой и светлой молодости юную девушку Галю бросил любимый. Да как! Уже была назначена свадьба, заказан праздничный торт, сшиты белое, нежное, как взбитые сливки, платье и легкая, прозрачная, как первый снег, фата. Счастливая Галечка – тогда еще не Галюнечка, а именно Галечка – задыхалась от счастья. Жених ее был прекрасен: и высок, и красив, и синеглаз. А вдобавок белокур и кудряв. А каким он был остроумцем! Как хохотала счастливая Галечка над его шутками!

Накануне назначенной свадьбы счастливая, невозможно счастливая невеста без сна ждала у распахнутого окна самого радостного в жизни утра, нетерпеливо притаптывая озябшими и холодными ступнями, вспыхивая от нетерпения и поглядывая на роскошный наряд.

До рассвета оставалось совсем недолго, впрочем, так же, как и до конца жизни. Потому что с рассветом жизнь закончилась. Свадьба не состоялась – без жениха никак не может состояться свадьба. А он некрасиво и пошло свалил, как в дешевом кино. Просто пропал – как не было. Нет, конечно, сначала подумали о самом плохом. «Что-то случилось! – кричала опухшая от слез Галечка. – С ним что-то случилось! Спасите его! Наверняка ему плохо! Он попал в больницу… или его убили», – добавляла она почти мертвым неслышным голосом.

Бросились по больницам. Пусто. Потом по моргам – та же история. Уф, слава богу! Счастливая Галечка отирала ладонями слезы и не отходила от окна, выглядывая любимого. Значит, занят, дела. Через три дня до нее наконец дошло – сбежал. И такое с кем-то бывает. Но с ней? Галечка слегла. Одетая в свадебное платье – снимать его она отказалась, – она лежала на диване, уставившись глазами в потолок, и на вопросы не отвечала.

Никто, даже мать, не знал, что бедная девочка носит ребенка и отец его – тот самый предатель. Прошел месяц, начался другой, а Галечка не вставала.

А в одно недоброе утро ее бедная мать нашла дочку в залитой кровью ванной. Галечка сделала с собой что-то ужасное, страшное, невозможное. Спицей, или металлической расческой, или чем-то еще. Какая разница?

Галечка умирала.

Спасли. После больницы она поднялась. Ела, пила, ходила, но ничего не чувствовала. Совсем. Разве что не могла отделаться от ощущения, что из нее достали все внутренности, что внутри одна пустота, как у выпотрошенной на бульон курицы. Она казалась себе именно дохлой курицей, с тонкой пупырчатой шеей и болтающейся головой, глупой и бестолковой. Или старой поломанной куклой, дурацкой, ненужной, за ненадобностью без сожаления выброшенной на помойку.

А спустя полтора года она встретила Петю. Петю Комарникова, хорошего, в сущности, парня. Правда, смешного, нелепого и неказистого, но разве дело в этом? Красавец у нее уже был.

Петя Комарников приехал в столицу из поселка Овсянки, что в далеком и холодном Красноярском крае – захочешь не доберешься. Впрочем, Галечка не хотела. Петя казался эдаким сельским простачком, Ваньком, лопушком. Ну чистый сибирский валенок. Смотреть на него не хотелось, и она отводила глаза. К тому же Петечка был гораздо ниже ее, уже тогда лысоват, безбров, слегка пучеглаз, с намечающимся под дешевой рубашкой пузцом, с полными, по-бабьи покатыми плечами. А еще он был коротконогий и короткопалый – на его руки Галина Ивановна не могла смотреть без отвращения всю дальнейшую жизнь. Да уж, красавчиком Петечка не был. Зато был страстно влюблен. Простой и надежный, Петя буквально молился на нее и клятвенно заверял, что будет ей

служить. «Именно служить, не иначе. Ты не пожалеешь», – страстно шептал он, и Галечка в это поверила! Поверила, да. Но в тот самый момент, когда увлеченный, вдохновленный и потный Петечка страстно шептал ей эти слова, тыкаясь влажным лицом в ее нежную шею, Галечку вырвало. Небольшая желтоватая лужица вонючей рвоты растеклась по подушке. Галечка оттерла рот и насмешливо посмотрела на кавалера. Может, вот сейчас сбежит, исчезнет из ее жизни, испарится как не было – повод-то был! Но убегать Петечка не торопился. И даже наоборот – вытащил носовой платок, огромный, как косынка, в крупную серую клетку, и начал осторожно оттирать запачканную подушку. Растерянная Галечка обескураженно разглядывала старательного юношу.

Наконец Петечка справился окончательно, выстирав тщательно наволочку в ванной, и присел на кровать.

– Плохо тебе, моя милая? Ты отравилась?

Галечка не ответила – только кивнула. Она поняла: этот не врет. Все, что бы с ней ни случилось, самое неприятное, даже невыносимое, мерзкое и отвратительное, он воспримет как божественный дар.

В тот день она решила выйти за Петечку замуж.

В столицу настырный Петя Комарников прибыл по комсомольской путевке. На родине он был женихом завидным – первый парень на деревне, что было, то было. Но остаться там на всю жизнь? Нет, товарищи и друзья! На это он был не готов. Добраться из Овсянки до Москвы было не просто, а уж поступить в институт!.. Требовались характеристики и прочая ерунда, способствующая поступлению. А вуз, надо сказать, Петечка выбрал отменный. Да и что мелочиться? Проиграть – так миллион, полюбить – так королеву. Нет, не так: не проиграть! Выиграть, только выиграть! Выиграть миллион, никак не меньше! И полюбить королеву, с этим он был совершенно согласен! Программа-максимум.

Да, добраться до столицы было непросто, но Петя добрался. Он до всего добирался, этот Петя-петушок. И до Галечки в том числе.

До нее – да. До ее тела. А вот до сердца и до души не получилось. Не по рангу ему, с его-то свиным колхозным рылом. Радуйся тому, что у тебя есть. Что тебе дали, точнее бросили, как милостыню, как подсохшую корку хлеба. Лови!

И Петя поймал.

Всю жизнь она его презирала, всегда. За излишнюю суетливость. За яростное желание вскарабкаться и подняться еще и еще. За цепкость, за хватку. За преклонение перед ней, всепрощение и постоянную готовность прислуживать. Понимала – за этой простецкой внешностью, за этой личиной рубахи-парня, деревенского наивного простачка, кроется человек жесткий и алчный, расчетливый и настырный, мнительный, подозрительный и даже жестокий. Не дай бог встать на пути Петра Васильевича Комарникова! Почему Галечка пошла за него? Да все просто как божий день – надоело. Надоело ловить жалостливые и насмешливые взгляды. Надоели постные лица отца и матери и их раздражающие заботы. Все надоело. Вся ее прежняя жизнь напоминала о любви, несостоявшейся свадьбе и несмываемом позоре брошенной накануне свадьбы невесты.

А как-то услышала, как горестно сетует мать:

– Ох, сколько денег пропало с этой чертовой свадьбой! Кому скажи – ужаснется!

Отец ей поддакнул. Галечка замерла, остолбенела. Она-то, наивная дура, считала, что они ее любят! А они жалеют о деньгах! Им деньги важнее, чем разбитое сердце дочери и ее унижение!

Она вообще презирала и не любила, чуралась людей. Не верила им. А теперь возненавидела еще и родителей. Сбежать, сбежать из отчего дома! Все зачеркнуть и начать новую жизнь. И, кстати, любить она больше никого не собирается. С нее достаточно, хватит, сыта по горло. Теперь пусть любят ее – она отлюбила.

Свадьбы, конечно, не было – еще не хватало! А вот на свадебное путешествие Галечка согласилась. Впрочем, какое уж там путешествие – так, ерунда. Ну съездили в Ленинград на пару ночей, вот и все путешествие. С погодой не повезло – впрочем, когда там везет с погодой? Был август, но лили дожди бесконечные, холодные, совсем не летние. Разместились в какой-то затрапезной гостинице на окраине, от райкома или горкома, какая разница? Город Ленинград, с его дворцами и площадями, так и не увидели толком. В окне были одна хмарь и гадость, заброшенный и грязный пустырь. Шли по Невскому, и молодой муж поймал Галечкин недовольный и презрительный взгляд. Тогда

расстроенный Петечка клятвенно пообещал, что очень скоро, всего-то через пару лет, они непременно остановятся в «Астории».

– Увидишь, Галюнечка! Не обману!

Она глянула на него, как рублем одарила, и коротко бросила:

– Посмотрим.

Правда, поверила – этот точно будет стараться.

Петечка окончил перспективный МИМО – тогда он так назывался. Были там разнарядки для деревенских простаков с хорошей комсомольской характеристикой.

Галюня не ошиблась в Петечке – карабкался он быстро. Правда, и коленки до крови обдирал, и стонал по ночам, и животом от расстройства маялся – нервничал, психовал. Старался оправдать доверие партии и любимой жены. Нет, не так – любимой жены, а уж потом партии. Но очень старался. Какой ценой ему все давалось, она предпочитала не знать – просто неинтересно, хотя и подозревала, что ее Петечка способен на многое. Ей было совершенно все равно, топит ли кого-то ее муж, топчет ли ногами, предает, подставляет или просто сметает на своем пути.

Петечка сдержал свое слово – через каких-нибудь семь лет у Галюнечки была каракулевая шубка, сшитая в закрытом ателье для жен партийных работников. А через десять и норковая, что было, кстати говоря, совсем не просто. И сережки бриллиантовые, и колечки, и золотые, с алмазами, часики. И личный таксист, возивший ее по магазинам и на рынок. И прислуга. И поездки в санатории для избранных, с просторными, устланными коврами номерами, улыбчивым персоналом и услужливыми и заботливыми врачами. И гостиница «Астория», кстати, была – и тут Петечка не обманул. И командировки заграничные были, и приемы в посольствах. Ни в чем, заметьте, не обманул. Словом, жила Галюня совсем неплохо, чего уж! Куда лучше, чем многие!

А то, что не любила она заботливого Петечку… Да и черт с ним! Она прекрасно помнила – такое не забудешь, – чем закончилась ее любовь. Не зря же поется: «Один раз в год сады цветут. Весны любви один раз ждут. Всего один лишь

только раз…»

И у нее уже был этот раз.

К тому же была она абсолютно уверена – юркий и прыткий Петечка ее не предаст. Никогда. А предательства она боялась больше всего.

Детей Галюня не хотела, но понимала, что надо. Какая семья без детей? Да и Петечку, кстати, надо держать – не дай бог… Знает она этих мужчин, знает. Второго разочарования ей точно не пережить.

Скрепя сердце и превозмогая брезгливость, она забеременела и в прекрасно оборудованном роддоме «для контингента» – ее страшно веселило и одновременно раздражало это дурацкое слово – легко и почти безболезненно, быстро и гладко родила дочь. Девочка была маленькая, всего сорок семь сантиметров, и при этом толстушка. «Вылитый папаша. Не повезло бедняжке», – с неприязнью подумала Галюня, разглядывая белесые ресницы и жидкие бровки, выпуклые светлые глаза, курносый нос и короткие пальчики.

Петечка встречал своих с роскошными букетами невиданных белых роз, с детской люлькой, обитой кружевом, со стопкой заграничных ползунков и кофточек, курточек и шапочек, с набором бутылочек и всяческих младенческих приспособлений, неизвестных в стране вечнозеленых помидоров.

«Чудеса, – думала Галюнечка, разглядывая всю эту красоту. – Надо же, как бывает!»

Пучеглазая девочка, ее дочка, названная в честь свекрови Натальей, по-домашнему Таточкой, была крикливой и беспокойной.

Галюнечка падала с ног и раздражалась.

По ночам к дочке вставал папаша, которому утром надо было идти на работу. Да на какую! Ответственную. Петечка, несмотря на молодость, уже состоял в партии и ждал первую длительную командировку. Слово это было заветное, сладкое, и произносил он его с придыханием. Разумеется, речь шла о командировке за кордон.

Что делать? Звать бабок? Свекровь Наталью Семеновну из далекой сибирской глуши? Простую деревенскую полуграмотную старуху?

Старухе, между прочим, в те годы было слегка за пятьдесят. Но это так, к слову.

Призвать на помощь Галечкину мать? Нет, никогда и ни за что! Чем меньше в ее доме будет родственников, тем лучше. Видеть мать Галюнечка не хотела – помнила тот разговор про деньги и свадьбу. После него охладела к родителям навсегда. «Злопамятная я, – усмехалась она про себя. – Ну что уж поделать!»

Оставалось взять няню. Найти ее помог Петечкин коллега.

Галюнечка внимательно приглядывалась к кандидатке. Нет, не то чтобы ее волновало, как эта незнакомая тетка станет обходиться с ее ребенком. Интересовало другое – как она будет существовать рядом с этой няней. Ведь находиться в одной квартире, видеть ее перед глазами придется круглосуточно.

– Ее надо минимизировать, – жестко сказала Галюнечка мужу. – Иначе я не смогу. Ты же знаешь, как я не люблю посторонних!

Муж согласился:

– Конечно! Ты, как всегда, детка, права!

При слове «детка» ее передернуло.

Няню взяли, выхода не было, и стало, конечно, полегче. Слава богу, тетка эта была молчаливой и почти незаметной. Или гуляла с девочкой, или тихо сидела в детской. Хозяевам не докучала.

Правда, и жизнь началась несколько другая – светская, яркая, наполненная событиями. И удачно, что помех в виде ребенка уже у них не было. Часто ходили в театры и на концерты – с билетами у Петечки проблем не возникало, причем с любыми. Стоило только снять телефонную трубку.

Простачок Петечка обожал концерты – к октябрьским, к Первому мая, к Восьмому марта. Галюнечка эти сборные концерты в Кремлевском дворце

ненавидела. Но делать нечего – статус, придется ходить.

А вот в театре ей нравилось. Там было красиво и не так громко. Но муж в театре засыпал. Стыдно, да и черт с ним! Нет, поначалу страшно смущалась и толкала его в толстый бок, шипела:

– Петя! Проснись!

Тот вздрагивал, испуганно оглядывался по сторонам, мелко кивал и засыпал снова. Ну и она успокоилась – в конце концов, ей на все наплевать, в том числе на косые взгляды соседей.

После рождения дочки им дали новую квартиру, двушку на Соколе, и они съехали, к радости Галюнечки, из семейного общежития, кстати, вполне приличного: двухкомнатная квартира на две семьи, кухня и ванная, жить было можно. Но что говорить, своя квартира, без всяких соседей, с общежитием не сравнится.

Петечка уверил жену, что новую, куда больше, трехкомнатную или даже четырехкомнатную, они тоже получат, и это не за горами. Да и поближе к центру, а как же? Галюнечка мечтала о центре. И опять не обманул – когда Тате было семь, въехали в новый, прекрасный кирпичный дом на уже тогда престижной Фрунзенской: огромный холл, кухня пятнадцать метров, высоченные потолки с лепниной – какая пошлость, кстати! Но вид из окна на Москву-реку, с ее белыми пароходиками по весне, на Нескучный сад. Красота, не поспоришь.

С обстановкой тоже решилось все просто – поехали на склад для контингента и купили все разом – и финскую кухню, и румынскую столовую, и югославскую спальню, и чешскую сантехнику небесно-голубого цвета, и шаляпинские обои с золотыми вензелями. И, конечно, хрустальные люстры и немецкие ковры.

В огромном, до потолка, холодильнике «Розенлев» были разложены деликатесы. Колбасы пяти сортов, от нежнейшей докторской из спеццеха до полукопченой финской, копченой российской, лучшей, по мнению Галины Ивановны. Там же – сыры трех сортов, от камамбера до твердого швейцарского, творог, молоко, сметана из того же спеццеха. Свежайшая парная телятина, крошечные цыплята, услужливо и аккуратно разделанная свежая рыба. Ярко-красные помидоры и свежие, с палец, огурчики – круглый год, даже среди зимы. Сливы и персики,

груши и бананы – все, что захочется самому избалованному и прихотливому гурману.

Галюнечка расхаживала по своей роскошной квартире и снова чувствовала себя нечастной. Господи, ну какая же дура! Сколько баб на ее месте рыдали бы от счастья и целовали ноги кормильцу! Но не она. Нет. Холодным, но чутким женским сердцем она понимала – если ослабить вожжи, показать Петечке женскую слабость, намекнуть, что она любит его и что ее все устраивает, он в ту же минуту к ней охладеет. Понимала, что ее коротыш и пламенный влюбленный тяготеет к женщинам холодным и равнодушным – он из этой редкой породы. И возбуждают его только ее отстраненность, безразличие и хладнокровность.

При этом они жили мирно, каждый жил своей жизнью. Совсем не ругались. Галюнечка ездила по магазинам и занималась собой – педикюр, маникюр, распределитель, сотая секция ГУМа. Муштровала прислугу – домработницу и дочкину няньку, эту тупую Лидку, прости господи. Как же она раздражала! Но без нее никуда. А Петечка много работал. «На благо родине, – шутил он. – Мы же служим народу!»

Циничность мужа ее раздражала, но разве она сама не такая? Разве она не жила как удобно? Да, не кланяется и не благодарит, все принимает как должное – высокомерно, с достоинством. А разве она не королева? Уж в мужниных глазах – точно! Вот и не надо себя терять. Кстати, он точно так же высокомерно – она слышала – разговаривает с подчиненными.

Принимали гостей. Терпела, а куда денешься? У них был свой круг, и игнорировать это было невозможно – от этих нужных людей зависела Петечкина карьера, значит, ее благополучие.

Когда дочке исполнилось восемь, Петечку послали за рубеж в долгожданную длительную командировку – первым замом посла в небогатой восточной стране. Галюнечке ехать туда не хотелось – замкнутый мир, климат, жара и влажность, новые лица, от которых не спрячешься, – все на виду. Да и в Москве ей было неплохо. Но как отказаться? Никак. Пришлось собираться. Тату оставили с нянькой – тихая Лида по-прежнему жила у них. И дочка, надо сказать, ее обожала. Можно было сдать дочь на время в интернат, но Петечка возражал.

«Ну и ладно, – решила Галина Ивановна, – пусть живет». Да и Тата устроила страшный скандал: «Останусь дома и только с Лидой!» Что копья ломать? И Галина Ивановна согласилась: «Черт с вами». В конце концов, хотя на первом этаже безотлучно дежурит консьержка, оставлять пустую квартиру как-то не очень. Заодно пусть охраняют, все польза.

Кстати, вот что интересно. К десяти годам некрасивая и белесая Тата вдруг изменилась. Потемнели и загустели жидковатые волосики, неожиданно потемнели и стали густыми ресницы, крупные, чуть навыкате глаза ярко заголубели, и даже курносый маленький нос вдруг стал вытягиваться и принял вполне благообразную форму. Галина Ивановна с удивлением разглядывала фотографии дочери, присланные Лидой. Нет, всем известно, что дети меняются! Но то, что невзрачная дочь превращалась в красавицу? Это не то чтобы обрадовало Галину Ивановну – это ее удивило: надо же, сработали все-таки гены! Порода, куда от нее денешься!

* * *

В командировке все было так, как она и предполагала, – раздражало ее все, от климата, от которого портилась и желтела кожа, до липкой и влажной жары и одинаковости каждого дня. Бесконечные сплетни на бабских посиделках у бассейна, тупые разговоры о детях и ценах, хвастанье удачными и, главное, дешевыми покупками, обмен кулинарным опытом – невыносимо. Галина Ивановна, ненавидевшая общение в принципе, поджимала губы и отодвигала свой шезлонг. Разумеется, жены посольских ее возненавидели – зазнайка, капризная дура, отвратительная хозяйка и так далее.

Галине Ивановне было абсолютно все равно. Ненавидят? Да ради бога. Презирают? Подумаешь! А она их? Мелкие, суетливые и завистливые душонки – что с них взять?

Но и от скуки было не спрятаться. По вечерам чуть не выла. И завыла бы, если бы была уверена, что не услышат. Но стены в посольском доме были тонкими, почти фанерными.

Ни пожаловаться, ни поговорить не с кем.

Муж… Да что муж? Разве он когда-нибудь был ей другом? Близким и родным человеком, способным понять и услышать? Да и как объяснить ему, как? Ведь любая бы на ее месте радовалась жизни.

Теми тоскливыми и невыносимо длинными, душными вечерами и появилась первая рюмочка – лекарство от тоски и одиночества. А что, оправдание. Нет, это была не рюмочка – это был стакан для виски: тяжелый, прохладный от льда, с толстым устойчивым дном, прозрачный как слеза.

Сначала поморщилась – горько. Ее никогда не тянуло к спиртному – так, на праздник стопочка водки и полфужера шампанского, да и то сладкого, как газировка.

Но вдруг приятно закружилась голова и поплыл низкий, серый от влажности потолок. Размякли ноги, расслабились и безвольно упали на колени размякшие как тряпки руки. А самое главное – внутри, где-то глубоко в животе, стало тепло, почти горячо и как-то спокойно.

«Мне легче! – с удивлением и радостью подумала она. – Меня отпустило!»

Довольно долго Петечка, Петр Васильевич, ни о чем не догадывался. Галюнечка была о-го-го каким конспиратором. Незадолго до прихода мужа – короткий взгляд на часы – шли в ход кофейные зерна, зеленый и горький, невозможно душистый лайм, от которого еще долго и приятно пахли пальцы, кусочек лаврового листа или просто конфета – обычная родная карамелька, знакомая с детства: «Лимончик» или «Снежок». Расчет был и на то, что муж уставал, приходил измочаленный, замученный. Тучному Петечке климат тоже не подходил. Единственное, что он отмечал, – жена, любименькая Галюнечка, повеселела. «Привыкла, – с облегчением подумал он. – Вот и славно». И снова ее пожалел: «Бедная девочка! Ребенок в Москве, бабы все эти. Конечно, не Галочкин круг! Да и вообще – я целый день на работе, а она, бедная? Чем ей заняться? Хоть бы подружилась с одной из этих куриц! Но нет, невозможно».

И по-прежнему, если не с большей силой, обожал свою «девочку» и горячо восхищался ею.

«За что это, господи? – с тоской думала, глядя в потолок, Галина Ивановна, когда ей приходилось уступать алчущему любви Петечке. – Поскорее! Поскорее

бы это закончилось». А Петр Васильевич, несмотря на свой смешной и карикатурный вид, любовник был сильный и страстный. «Нет, он и вправду ненормальный! – раздраженно думала она. – Убогий какой-то, ей-богу! Идиот».

А безделье все больше затягивало и засасывало, как болото. Раз-два в неделю поездки по магазинам – продуктовым и промтоварным, убогим и смешным: сплошной китайский ширпотреб, в Москве у нее были тряпки получше! Конечно же, она не готовила. Но Петечка не жаловался – обедал в посольской столовой или перекусывал в городе.

Письма от Лидки приходили диппочтой раз в месяц. Это был подробный отчет, строго по пунктам, в столбик: оценки обожаемой Таточки, что и как она ест, ну и все остальное, про Таточкиных подруг и ее увлечения.

Увлечения были, конечно же, еще вполне детскими и невинными – посиделки с подружками во дворе, если непогода – в подъездах, походы в кафе-мороженое, в кино. Ну и всякая мелочь, которой живут нормальные, обычные советские дети. Училась Тата не очень – были и двойки, и даже колы. Но об этом Лидка не писала: Тата не разрешала, да и зачем волновать родителей?

В конце письма была приписана пара скупых и жалких строк от дочери: «Папочка, мама! – Именно так, в таком порядке. – У меня все нормально. С Лидой не ссоримся, учусь нормально, чувствую себя нормально. Скучаю».

От этих бесконечных «нормально» Галину Ивановну трясло.

А Петр Васильевич писал дочери длинные и подробные письма, в которых описывал окрестности, местные достопримечательности, природу, тропические душистые цветы: «Ах, Таточка! Тебе бы понюхать! Такой аромат – восхищение!» И даже писал о жуках и местных бабочках, к письму прилагались и фотографии. К его подробному и довольно нудному письму Галина Ивановна, хмурясь, приписывала пару скупых и строгих строк: «У нас все нормально! Пиши подробнее, Тата! И слушайся Лиду!» Все с восклицательным знаком. И там фигурировало это нормально, так ненавидимое ею.

Петечка сетовал:

– Галя! А если потеплее и подробнее? Тему раскрой! – пробовал он шутить.

– Ты уже раскрыл, – поджимала она губы. – Ни добавить, ни убавить.

И разговор был окончен. При любой возможности, если кто-то летел в Москву, Петр Васильевич передавал дочке посылки – тряпки, обувь, конфеты, жевательную резинку – большую редкость и почти валюту в те годы, а также, потихоньку от строгой супруги, кое-что из косметики: светлый лак для ногтей, душистый вазелин для губ в тюбике или тени с блестинками – на школьный вечер.

* * *

Галюнечкины «стаканчики» все-таки обнаружились. Как веревочке ни виться, кончику все же быть. Петр Васильевич пришел в ужас.

– Господи боже, – шептал преданный коммунист и безбожник, – господи, скажи, за что мне такое! И что же мне делать?

Но господь, не привыкший к диалогу с коммунистом Комарниковым, молчал.

Впервые Петечка устроил скандал и шипел страшным шепотом, боялся, что услышат соседи:

– Нас отправят домой! Слышишь? Нас отправят в двадцать четыре часа! Это позор и конец моей карьере! А ты отлично знаешь, как я шел к этому! Через какие буераки, через какие… – Петечка не договорил, горестно махнул пухлой ручкой и в бессилии шумно упал в хлипкое, шаткое казенное кресло, которое под ним угрожающе скрипнуло. И тут же, после минутного перерыва, заорал как подорванный: – Галя! Очнись и приди в себя! Иначе могила, кранты!

Кажется, впервые Галюнечка испугалась. Правда, быстро пришла в себя:

– Ах, так? Испугался? Ну и отлично! Домой? Лично я об этом только мечтаю!

– А я? Как же я? – тихо промямлил он и пустил слезу.

Она демонически расхохоталась.

«Ведьма, – с тоской подумал Петечка, – определенно ведьма, так меня заворожила. Жить без нее не смогу – просто тиски. И не отпускает ведь, а? И что я в ней нашел?» – впервые подумал он, глядя на растрепанную, неприбранную и пьяную жену. Но понял и другое: уже ничего не исправить. Пить Галюня не бросит, как ни старайся. Хотя бы назло ему. Потому что она его ненавидит. Это он уже понимал.

И тут случилось несчастье – Петечка, Петр Васильевич, нелюбимый, постылый муж, неожиданно рухнул с инфарктом, прямо посреди рабочего дня. Поднявшись из-за стола, он упал вниз лицом и, конечно, разбился. По лицу, заливая рот и глаза, текла кровь. Позвали Галину Ивановну – благо недалеко. Как она страшно кричала! Но «Скорая» примчалась, когда еще не все успели испугаться.

Петра Васильевича увезли в госпиталь. Особых надежд не давали – опасный возраст, полнота, недавно диагностированная гипертония. Да и климат – этот кошмарный климат гипертоникам решительно не подходил.

Галюня испугалась – по-настоящему испугалась, всерьез. Петечка умрет? А что будет с ней? Она ни на что не способна и ничего не умеет. Да страшно представить – она пойдет на работу и целыми днями будет сидеть в душной, пыльной комнате с замученными и тоскливыми бабами, думающими об одном – достать шмат черного мяса и кусок отвратительной, несъедобной колбасы? Нет, никогда! Она просто не сможет – она привыкла к другому! Она знает точно – не сможет, и это не жизнь! А значит, выход один – уйти из этой жизни! Она так и сделает, да. Если не выживет Петечка. Значит, необходимо его выходить – с врачебной помощью, с божьей, с ее – какая разница?

Галюня почти не выходила из госпиталя, поразив этим не только Петечку, но и всех остальных работников миссии. Петечку вытянули, но, по строгому предписанию врачей, находиться в стране не представлялось возможным. Через две недели после его выписки из госпиталя они улетели в Москву.

Дома их встретила растерянная Лида, понимающая, что придется искать новую работу, и расстроенная дочь, давно отвыкшая от родительской заботы и привыкшая к свободе. Погрустневшая Тата прекрасно понимала, что замечательной и вольной жизни пришел конец.

Она не ошиблась – верную, любимую Лиду Галина Ивановна рассчитала через неделю, предварительно устроив скандал по поводу «страшной запущенности квартиры». Это, конечно, было вранье, но заплаканная и перепуганная насмерть Лидочка целую неделю ползала по углам и стирала пыль с потолков. Не помогло.

Молча, со сведенными бровями и поджатыми губами, хозяйка ходила по своим хоромам, пытаясь отыскать промахи домработницы. Лида с отчаянно бившимся сердцем, замерев, стояла, прижавшись к дверному косяку, и ожидала приговора.

Денег при расчете выдали рупь в рупь. Тихо возмутился даже Петр Васильевич, и вспыхнула повзрослевшая Тата. Но Галина Ивановна пресекла все волнения:

– Ах, мало? А кормежка, а проживание? А почти три года как у Христа за пазухой? Нет, вы просто сошли с ума!

Спорить никто не стал, не решились. Но Петр Васильевич, щедростью не отличавшийся, пугливо оглядываясь, умудрился сунуть заплаканной Лиде пару зеленых хрустких полтинников.

Тата тогда окончательно убедилась: мать – сука и сволочь. Кроме отца, смешного, несуразного, нелепого и слегка презираемого (конечно, за преклонение перед этой!), Лидочка, простая как пятак, честная и верная, неподкупная Татина защитница, была единственным человеком, которого та любила.

Уход Лидочки она матери не простила. И вообще поняла окончательно: перед ней враг, хитрый, умный, опасный и сильный. Но ничего! Она, Тата Комарникова, в будущем – Наталья Петровна, тоже не промах – как-нибудь справимся. Посмотрим еще, кто кого. Вот тогда и началась затяжная, непрекращающаяся, не знающая уступок, перемирий и белых флагов война с матерью.

«Почему? – часто спрашивала себя Галина Ивановна. – Почему я так к ней отношусь?» Ответа она не находила. Нет, все понятно – дочь росла дерзкой и наглой, избалованной и капризной. Дочь раздражала Галюню до зубовного скрежета. А уж если она улавливала что-нибудь Петечкино, например интонацию или улыбку! С брезгливостью она говорила дочери, когда та, страшная сластена, ела торт или мороженое: «Разнесет тебя, матушка! Как отца разнесет!»

Да и Татины взаимные с отцом любовь и нежность друг к другу Галину Ивановну раздражали. Претензии копились и выплескивались в скандалы – громкие, склочные, некрасивые. Истеричные.

Дочь, разумеется, чувствовала ее нелюбовь – подростки к такому особенно чувствительны и реагируют остро. И отвечала ей тем же.

Но случилось то, чего не ожидала придирчивая Галина Ивановна: к шестнадцати годам ее дочь Тата окончательно превратилась в красавицу. Обычная, совершенно обычная девочка вдруг расцвела как маков цвет!

Ну просто сказка про прекрасного лебедя!

* * *

Два года Галина Ивановна держалась. А потом ее пьянки возобновились – снова втихаря, украдкой, теперь еще и от дочери. Правда, пила она только тогда, когда Петечки не было дома – слава богу, командировки его были частыми. А что до дочки, так той вообще до нее дела не было – возвращалась домой она поздно, с матерью не общалась, проскакивала в свою комнату. Раз – и нет. Сквозняк.

Нет, однажды все же зашла – так получилось, был какой-то срочный вопрос. Ну и увидела всю довольно страшную и странную картину: в полной темноте, с плотно зашторенными окнами, Галина Ивановна сидела на ковре, и перед ней стояла ополовиненная бутылка шотландского виски. Раскачиваясь из стороны в сторону и тихонько поскуливая, она, увидев дочь, вздрогнула и засмеялась страшным, дьявольским смехом, а потом, подняв на нее мутные, измученные глаза, зло и коротко выкрикнула:

– Чего тебе? Выйди вон, поняла?

Ошарашенная, дочь тихо ответила:

– Да, поняла. – И покорно вышла из комнаты.

Галина Ивановна всхлипнула и усмехнулась: конечно же, эта стерва тут же доложит отцу! Не то чтобы было страшно – Петюнечку она не боялась. Но все равно неохота: скандалы, уговоры и мольбы – противно.

Муж приехал через пару дней, и все началось:

– Галюнечка, детка! Любимая, дорогая! Ну как же так, милая? Снова-здорово?

Самое неприятное, что муж стал настаивать на лечении.

Какое лечение? Пережить еще и этот позор? Нет, невозможно и никогда!

– Оставь меня в покое, – с угрозой потребовала она.

Петечка промолчал и развел руками:

– Ну, дело твое. Я предложил.

В это же время их интимная, так сказать, личная жизнь с Петюнечкой была наконец завершена. Предлог, по счастью, нашелся, и Галина Ивановна поставила решительную и жирную точку и выставила Петюнечку из спальни в кабинет. Навсегда.

Как ни странно, муж с этим тут же смирился и не возразил. С напускным трагизмом – Галина Ивановна всегда остро чуяла ложь – развел пухлыми ручками:

– Так, значит, так. Лишь бы тебе было хорошо, мое солнышко!

И очень скоро, буквально через пару месяцев, завел любовницу – молодую и симпатичную секретаршу Леночку. Очень удобно: всегда рядом.

Леночка оказалась восхитительной – страстной, горячей, нетерпеливой. Как он мог не замечать ее раньше? И Петр Васильевич обалдел – вот, оказывается, как оно бывает! А он прожил жизнь, считая, что так, как это происходит у них с Галюнечкой, – это нормально.

Жену он разлюбил в один день, и это оказалось так просто, что он сам удивился. Его горячая любовь к ней, всепоглощающая, ненормальная, испарилась – как не было. «Кончился ресурс», – облегченно выдохнул он и радостно вступил в новую жизнь – с Леночкой.

Через полгода он выбил своей прекрасной Елене квартиру – пусть маленькую, однокомнатную, в далеком Алтуфьеве, но свою. Да и место для жарких встреч теперь было необходимо. Она, его прекрасная Елена, его волшебная девочка, всегда ждала своего Петечку с нетерпением, и это было приятно. В минуту, когда одышливый и, мягко говоря, немолодой любовник возникал в дверном проеме, Леночкины глаза разгорались счастливым огнем.

«Девочка моя! – взволнованно думал он. – Да я за тебя…»

Тут же, незамедлительно, подавался горячий ужин – домашние котлетки, большие, с ладонь, душистые и сочные, как в детстве, у мамы. Жареная картошечка с лучком, на сливочном масле – тоже из детства. Свежезаваренный чай – ароматный, коньячного цвета, со смородиновым листом – боже, какой аромат!

Леночка осторожно выясняла, что любит Петечка. Леночка дарила Петечке рубашки и майки с трусами – вот она, истинная забота. Леночка варила любимое вишневое варенье – и снова сплошное восхищение и восторг: «Милая моя, дорогая!»

В августе ездили за грибами – далеко, куда-то за Вязьму – Леночка была заядлой грибницей, как и Петечка в детстве. Притомившись, разжигали костерок и запекали картошку. Смеясь, словно дети, вытаскивали ее из костра – обуглившуюся, обжигающую, с лопнувшей угольной корочкой. Перекидывали друг другу, с ладони на ладонь, дули и снова смеялись. Леночкины руки и лицо, перемазанные золой, казались Петечке воплощением совершенства.

– Какая же ты у меня красавица! – искренне восклицал он. – Как же мне повезло!

Он смотрел на Леночку, на ее молодое, гладкое, румяное и чистое лицо, на смешные веснушки, на яркие и живые глаза, и его охватывало такое чувство восторга и счастья, что он пугался: что будет дальше? Он понимал: если отнять у него эту девочку, он не просто скиснет, скукожится и пропадет – он умрет.

Но Леночка молчала. Ни одного вопроса – ни-ни! «Какая она тактичная», – восхищался Петр Васильевич. И снова был счастлив. Так счастлив он был сто лет назад, в той, прежней, жизни, когда повстречал свою Галю.

Но где та Галя и где та любовь? Все прошло, истаяло, испарилось.

Сейчас была только Леночка, Леночка, Леночка. Его счастье и его настоящая жизнь. Как ему не хотелось возвращаться домой! Мука, пытка, каторга, инквизиция. Какие, к черту, хоромы, какой обустроенный рай? Там, дома, – могила. Сырая и темная, страшная в своем непрерывном кошмаре. Там Галя, жена, которая теперь просто спивалась, уже не сопротивляясь и не скрываясь от мужа. Какая ей разница, когда давно на все наплевать? Как опостылела ей эта жизнь, кто бы знал: толстая, потная ряха ее ненавистного мужа. Наглое и насмешливое лицо дочери, глядящей на мать с презрением и брезгливостью. Ничего у Таты от нее, ничего! Малолетняя стерва, сталкиваясь с Галиной Ивановной в коридоре, шарахалась от нее как от прокаженной. Да она и была прокаженной, была. Что отрицать?

Муж и дочь с облегчением выдыхали только тогда, когда укладывали Галину Ивановну в больницу. Больница была районная, самая обычная, для обычных людей – разве Петечка может отправить ее в Кремлевку? Конечно же нет! Хлебнуть еще и такого позора? В районной, конечно, были страшная грязь, проваленные койки, застеленные серым, в пятнах, бельем. Постоянные окрики суровых и злых санитарок, равнодушие замученных врачей, невыносимый запаха туалета и отвратительная еда. Правда, Галина Ивановна почти ничего не ела, и на это ей было глубоко наплевать. Отправлялась она в больницу если не со смирением, то без скандалов и истерик, почти равнодушно. Теперь ей многое было уже все равно. В больнице ее слегка «подправляли». Ненадолго, но все же…

А дома опять начинались истерики и скандалы. И никакой жалости от этой малолетней гадины, никакого сочувствия. Даже несчастный Петюнечка жалел жену, но не родная дочь. «Какое жестокое сердце, – вздыхал Петр Васильевич, – какое равнодушие! Все-таки мать». Но тут же оправдывал дочь: «Галя сама виновата». Петюнечке было легче – теперь он почти не бывал дома, исчезая при любом удобном и неудобном случае. Соблюдаемые им прежде приличия давно канули в Лету – он уже ничего не боялся. В конце концов, жизнь одна! Да и та уже на излете.

В Алтуфьево переехали его вещи – костюмы и недавно приобретенные джинсы, а еще яркие, модные и легкомысленные рубашки – «бобочки», как называла их смешливая Леночка. И вправду, надо было молодиться, соответствовать, стараться. И он старался. Он всегда был старательным.

Полный и неуклюжий с ранней юности Петечка враз похудел аж на десять килограммов! И, уж конечно, сразу помолодел, как бывает всегда.

Итак, все были по местам – мать почти постоянно в больнице, а резвый папан у любовницы. За отца Тата радовалась, но знакомиться с его молодой избранницей не торопилась – зачем? Угрозу она от Леночки не чувствовала, хотя представляла, что может произойти. Вот, например, засунут мать в интернат или в психушку, и отцова любовница переедет в их квартиру.

Но пока было тихо, мать снова подолгу лежала в больницах, а папаша торчал у своей пассии. Ну а Тата наслаждалась жизнью.

Была у нее за эти годы и страстная, роковая любовь, окончившаяся, как обычно бывает, двумя абортами подряд, и короткие, необременительные романчики – на месяц или на два. Были мужчины взрослые и опытные, были и восторженные юнцы – все было, все.

Однажды попался один иностранец, югослав, чернявый и синеглазый – полный восторг. С этим Драганом они хорошо погуляли – ресторан в Архангельском, шикарный «Берлин», напыщенная «Прага», валютный бар в «Метрополе» и, конечно, новомодный «Белград». Югослав был щедр, любил загулы с купеческим размахом и, разумеется, девочек.

Тата влюбилась, но понимала – без вариантов. Во-первых, синеглазый красавец был женат, а во?вторых, ее отец никогда не допустит брака с иностранцем.

А через несколько счастливых и загульных месяцев Драган уехал к родным берегам – командировка в веселой России закончилась. И Тата отправилась на очередной аборт. Тогда у нее уже был свой гинеколог Вахтанг Георгиевич. «Придворный абортмахер», – шутила она.

После отъезда красавца снова стало грустно. Нет, кавалеров было навалом, а вот серьезного не было. А возраст уже был почти критическим – девятнадцать. А

к двадцати двум принято было выйти замуж.

Когда ей попался Никитин, она и не рассматривала его серьезно – обычный симпатичный парень, с хорошей спортивной фигурой, серьезный и скромный. Хотя последние качества Тата достоинствами не считала. Ей нравились наглецы. Определенно провинциал был сильно и страстно влюблен, что тоже было приятно. Было понятно, что он стремится сделать карьеру, подняться и даже взлететь. Было ясно, что он упертый, и это шло ему в плюс. К тому же семейка его жила далеко, а это уже второй несомненный плюс. Да и вообще понятно: этот будет любить, будет верным и трепетным и всегда, всегда будет считать, что она его осчастливила.

А ситуация дома, если честно, тревожила. Было ясно, что мать уже не вылечить, и конец ее был вполне предсказуем, и папуля свалит в ту же минуту, сомнений не было. А ну как не свалит, а притащит свою пассию сюда? Нет, невозможно! А если Тата будет замужем, тогда папаше придется уйти.

«Надо брать этого олуха теплым, – решила Тата. – А там разберемся».

Галина Ивановна в очередной раз пришла из больницы. Физически чувствовала себя неплохо, а морально… Она уже почти не реагировала на происходящее, равнодушие и безразличие накрыли ее целиком: был человек – нет человека. Днями она сидела не двигаясь: летом на балконе, с вечной сигаретой во рту, зимой и осенью – на прокуренной кухне, в вонючих и густых, слоистых облаках дыма и страшной, невыносимой духоте.

Тата врывалась на кухню и, невзирая на погоду, резким движением настежь распахивала окно. Мать усмехалась, провожала ее затуманенным взглядом и не возражала.

На скандалы уже не было сил.

В тот день, когда дочь объявила родителям о скорой свадьбе, они всей семьей, что случалось теперь очень редко, завтракали на кухне.

Услышав неожиданную новость, Галина Ивановна оживилась, слегка выпрямила спину и с испугом посмотрела на мужа.

– Замуж? – переспросил обалдевший Петр Васильевич. – А зачем, детка? Разве тебе, – он растерялся, подыскивая слова, – разве тебе с нами плохо?

Тата рассмеялась.

– Зачем? Хороший вопрос! – Но тут же нахмурилась: – Плохо? Да отвратительно, папа! У тебя своя жизнь, а про нее, – Тата презрительно кивнула на мать, – что говорить?

Галина Ивановна вздрогнула, услышав последнюю фразу: «Вот дрянь!» Но перечить Тате ни она, ни Петр Васильевич не осмелились. Мать из-за страха скандала, к которым она давно потеряла интерес, а отец – из любви к дочери, да и у самого рыльце было в пушку.

В голове прокрутилось все быстро: Тата будет при муже, конечно же, молодые останутся здесь. Ну а он сможет спокойно уйти, перебраться к Леночке. Дочь взрослый, самостоятельный человек, уже не ребенок, и его совесть чиста.

Галину Ивановну новость расстроила – она понимала, что жизнь ее не облегчится явно. У этой появится защитник, возможно, почище папаши. Да и гонору прибавится наверняка. Да и как они уживутся с чужим человеком?

Она попробовала возразить – так, для порядка. Получилось тихо, несмело и вяло, ей никто не ответил.

«Мебель, – мелькнуло в ее затуманенном лекарствами мозгу. – Я просто мебель, старая, ветхая, неудобная, которая всем мешает и от которой хорошо бы избавиться, просто руки пока не дошли».

* * *

Никитин отлично помнил день знакомства с Татиными родителями и накрывший его мандраж. Петр Васильевич, будущий тесть, ответственный работник и человек из другого мира, вызывал у него почти священный трепет – не только в силу статуса, нет. Он был отцом его Таты. А теща… Нет, он не боялся ее – скорее остерегался, так как был в курсе: Татина мать – тяжелобольной человек.

Петр Васильевич строго и пристально разглядывал будущего родственника и тут же учинил ему подробный допрос обо всем по порядку, с частыми остановками: мать, отец, дед с бабкой. Брат.

Спросил про армию. Узнав, что Никитин отслужил, одобрительно сказал:

– Долг родине, так сказать, отдан? Ну, молодец. Уважаю.

Ну и про все остальное, включая планы на жизнь и взгляды на нее же, тоже подробно выспросил.

Никитин робел, от волнения обливался холодным потом, путался в показаниях, сбивался, припоминая подробности, и с мольбой бросал редкие взгляды на любимую: «Спаси!»

Через час Тата резко и невежливо оборвала отца и предложила приступить к занятию более приятному – обсуждению свадьбы.

Да, свадьба должна была быть роскошной. А как же? Или она не дочка Комарникова? Или у них не хватит на это средств? Или она, Тата, не заслужила?

Готовились тщательно: в валютной «Березке» были приобретены югославский костюм и обувь жениху и роскошное платье для невесты – сливочное, кружевное. Тата была в нем красавица! Никакой фаты – немодно, мещанство. Только цветы в волосах! Ресторан. Конечно, шикарный – «Прага», посольский зал: расписные потолки, ковры, тугие каменные скатерти, немыслимой красоты хрустальные люстры. Невеста выбирала меню сама – придирчиво, строго, сурово нахмурив брови: крабы, черная икра, заливная осетрина.

Никитину было неловко от этих роскошеств, безумного пафоса и запредельных, немыслимых цен. Подташнивало от услужливо склоненного метрдотеля с глазами пустыми и наглыми, как у бультерьера, от прилизанных официантов, напоминающих майских жуков, от купеческой роскоши, неслыханной, непозволительной, показушной. Думал он о том, как изумятся, растеряются и оробеют его родители – честные и скромные труженики, бедные провинциалы.

Пытался охолонить молодую, но тщетно – Тата сверкала очами, возмущалась, обижалась, подолгу дулась и прекращала с ним разговаривать. В конце концов он смирился и больше в спор не вступал: все девочки мечтают о красивой, необычной свадьбе. К тому же она привыкла к богатству, так зачем же ее лишать светлой мечты?

Перед свадьбой Тата устроила настоящий скандал, настаивая, нет, даже требуя, чтобы матери в ресторане не было. Кажется, даже Петр Васильевич обалдел от заявления дочери и все бормотал:

– Как же так, Таточка? Как же так? Нет, невозможно! А что скажут люди?

Дочь зло усмехнулась:

– Люди? А что они скажут, когда твоя Галюнечка в доску нажрется и, например, устроит скандал?

Родители Никитина приехали первым ранним поездом, в самый день свадьбы. Он встречал их на вокзале. Брат не приехал – Тамара лежала в больнице. Мать с отцом были напуганы предстоящим знакомством с новой, важной родней, будущей невесткой и больной, несчастной, пьющей сватьей. Ну и, конечно, смущало то, что в дорогом столичном ресторане бывать им не приходилось.

Запуганных и растерянных родителей Никитин привез с вокзала на Фрунзенскую. Галина Ивановна, накануне накачанная снотворными, слава богу, спала и должна была проспать долго, почти до обеда. «Ну и хорошо, – подумал он. – Дай бог, чтобы не проснулась – к часу нам в загс, все удачно». Но расчеты не оправдались: Галина Ивановна проснулась и вышла из спальни нечесаная, опухшая, заспанная. Зашла на кухню и уставилась на незнакомых гостей.

Петр Васильевич хлопотал, накрывая чай. Тата поспешно увела мать в ее комнату. Повисла неловкая пауза. Родители Никитина испуганно переглядывались. Мать оглядывала квартиру и еле сдерживала свое удивление. Хмурый отец молчал и смотрел на стол.

Разговор не клеился, хотя сват очень старался.

Но тут вышла Тата – в летящем воздушном платье, с цветами в волосах, светящаяся, счастливая, прекрасная, ошеломительная. От ее красоты у Никитина перехватило дыхание.

Он вздрогнул и посмотрел на родителей – мама чуть слышно охнула, а отец просветлел взглядом. И Никитин выдохнул. Свадьбу гуляли, как и было задумано: шумно, сыто и пьяно – богато. Зал сверкал и переливался хрусталем, и блики от люстры отражались в тяжелых серебряных приборах. Столы, покрытые до синевы накрахмаленными скатертями, были плотно уставлены деликатесами, от которых разбегались глаза, – пышно украшенные и богато декорированные блюда были похожи на муляжи. Гости, важные, напыщенные, тоже сверкающие и разодетые, говорили серьезные тосты и стучали ножами по бокалам, призывая всех к тишине.

Тата сверкала глазами, сияла лицом и, кажется, была счастлива.

«Это главное, – думал Никитин. – А все остальное мы переживем! Осталось недолго».

Родители сидели как мыши: тихие, оробевшие. Было заметно, что они не вписываются в это общество. На фоне жен важных гостей, с бриллиантами и голыми плечами, с прическами и в роскошных туалетах, его мать, в скромном, самодельно пошитом шелковом платье и старых туфлях, в дешевых сережках с красными камушками, с дурацкими «шестимесячными» бараньими кудрями, с перепуганным лицом, выглядела даже не бедной родственницей, а прислугой, посудомойкой, случайно присевшей на краешек стула.

За родителей, конечно, было обидно, а еще больше стыдно. И не только за них, но и за себя – за то, что стесняется их.

Но Татка, его любимая Татка, его молодая красавица жена была оглушительно счастлива. Сложилось все так, как она и мечтала – помпезно, с размахом. По ее мнению, безумно красиво.

Галина Ивановна явилась к десерту – именно в тот момент, когда торжественно был вынесен высоченный шикарный торт.

Никитин, поглядывающий на родителей, перехватил испуганный взгляд матери – та смотрела на дверь и толкала отца. В проеме распахнутой золоченой, с вензелями и блестящей латунной ручкой и скобами двери стояла его теща Галина Ивановна Комарникова, Галюнечка, Татина мать.

На ней было небрежно, кое-как, криво накинуто пальто, сквозь распахнутые полы которого бесстыдно светился знакомый старый халат. На синеватые, худые, босые ноги были надеты парадные лаковые туфли на каблуках. Галюнечка покачивалась, ее явно штормило. Но самым страшным было лицо: иссиня-белое, неживое, безумно и страшно размалеванное. Страшил и искривленный страшной гримасой криво накрашенный ярко-красной помадой рот, неряшливый высокий начес на голове и руки – старческие, подагрические, скрюченные, блестящие бриллиантовыми браслетами и кольцами – кажется, всем, что было у нее в арсенале.

То, что ее не ограбили по дороге, было счастливой случайностью. Конечно, она была страшно пьяна, под завязку.

Никитин с ужасом смотрел на эту картину и не знал, что делать, боясь даже представить себе, чем все это может окончиться.

Скумекал отец, сидевший с краю стола, у самого входа, чтобы подальше от всех. Сорвавшись с места, отец, а за ним следом и мать, тут же сообразившая, что надо делать, подхватили под руки сватью и вывели в коридор. Вслед за ними выскочил Никитин.

По высокой лестнице, держа ее, спотыкающуюся и почти падающую под руки, с трудом довели до выхода.

Никитин поймал такси, заплатив немыслимую сумму, и родители, сев по обе стороны от Галины Ивановны на заднее сиденье, уехали с ней домой.

– Подальше от греха, – приговаривала мать, – не дай бог, испортит детям праздник!

Когда наконец такси плавно отъехало от ресторана, Никитин возблагодарил бога: страшно было представить, что могло произойти. Бедная, бедная Татка! Дамоклов меч над всеми нами.

Жене он все рассказал через пару недель – не хотел портить настроение.

В тот же день родители поспешно уехали, да и он, если честно, их не отговаривал – было стыдно, неловко, тревожно: что еще выкинет милая теща? Да и вообще все надоели – очень хотелось остаться наедине с молодой женой.

На перроне, перед отходом поезда, мать утирала слезы и приговаривала:

– Как же ты, сыночка? Как же все будет?

Никитин злился, отец останавливал мать. Кое-как распрощались, а вот неловкость осталась надолго.

Началась семейная жизнь. После истории в ресторане тещу опять положили в больницу, тесть дома почти не бывал. А молодых все устраивало – свобода!

Прилежной хозяйкой его молодая жена стать не торопилась – да и ладно, его и так все устраивало. Готовые котлеты из кулинарии? Пожалуйста! Винегрет оттуда же – ради бога! Неглаженая рубаха? Не барин, погладит и сам, он привык. Все ему было вкусно тогда, все мило, все хорошо.

Разумеется, Никитин понимал, что у Петра Васильевича кто-то есть, но разговоров не заводил – не его это дело. Да и видел – Тате это тоже не очень приятно.

Кстати, тесть позже, после того как Никитин окончил институт, устроил его на работу. О такой работе даже мечтать было смешно и нелепо, и в голову бы не пришло мечтать о таком: начальником отдела в Совтрансавто.

– Ты же у нас втузовец? – коротко осведомился он и констатировал: – Подойдет.

Никитину дали приличный оклад, но самое главное – впереди маячили загранкомандировки, а это было куда ценнее, чем деньги! Это были возможности! Никитин понимал, что тесть думает о дочке, а не о нем. Дочка должна иметь приличного мужа, а приличный муж не может работать в каком-то КБ или торчать в гараже, пусть даже начальником.

В свою первую командировку, в братскую Польшу, он поехал через полгода. И это было только начало.

В то время, когда теща лежала «на лечении», тесть дома не появлялся – только если навестить молодых, чем-то побаловать. Он всегда появлялся с подарками – тяжеленными коробками с продуктовыми заказами.

Словом, детей не бросал. Ну и спасибо. От дочери, правда, глаза прятал и коротко спрашивал:

– Ну как там Галя?

Никаких «Галюнечек» уже давно не было. Никитин догадывался – в больницу к жене он не ездит. Да и Тата на все его призывы навестить, привезти матери нормальной еды отвечала жестко:

– Там все есть, ничего не надо. А будет надо – известят.

– Наверное, – соглашался Никитин.

Нет, он все понимал – конечно, Тате досталось. Но все-таки мать… больная несчастная мать. И разве так правильно? Спустя три месяца Галину Ивановну забрали домой и окончательно поняли, что теперь им не справиться. Срочно нашли и вызвали Лиду, бывшую Татину няню. Лида по-прежнему была одинока и все так же проживала в общежитии где-то в Сокольниках. Работала она на заводе, где «мыла стекло», как она сама говорила. Что это означало, Никитин не выяснял – зачем?

Самое странное, что эта несчастная затюканная и униженная той же Галиной Ивановной Лида с радостью согласилась «смотреть и ходить» за хозяйкой. И «ходила», и «смотрела», как самая верная и преданная дочь. Стало легче, конечно же легче! Но по большому счету ситуация не изменилась – в квартире на Фрунзенской была все та же ужасная, страшная жизнь. Несчастная кричала по ночам, пыталась открыть входную дверь и сбежать, норовила выпрыгнуть из окна, била верную Лидку, швыряла ей в лицо мокрые тряпки, выливала на нее горячий суп. Хулиганство, помешательство? А бог ее знает.

Это, конечно же, не украшало семейную жизнь молодых – у Таты начались скандалы и истерики. Сдавали нервы и у самого Никитина. А что делать? Сдать ее в сумасшедший дом? Наверное, выход… И все-таки Никитин сомневался. Все было безрадостно. Он выдыхал только в командировках, из дома старался сбежать. Тата это чувствовала и понимала, но продолжала скандалить. Работала она вполноги – папаша устроил товароведом в ювелирный магазин. Но вскоре оттуда пришлось уйти – Тата забеременела. Беременность была сложной и нервной – домашняя обстановка этому поспособствовала. Она ложилась в больницу на сохранение, Никитин сходил с ума, понимая, что любит ее по-прежнему, даже сильнее: она ждала от него ребенка!

Рожала она тяжело, с осложнениями. Никитин торчал во дворе роддома и выписывал до изнеможения круги под окнами родильного отделения. В каждом крике младенца он слышал голос своего, родного ребенка. Сын родился мелким и слабым – последствия тяжелой беременности и крайне тяжелых родов. Врачи тактично предупредили, что впереди все будет непросто.

«Да ерунда! – думал счастливый Никитин. – Выходим, вырастим! Подумаешь – слабый! Еще такого богатыря выращу – удивитесь! Вложу в парня все, что смогу».

О том, что им предстоит, Никитин и Тата, по счастью, не догадывались, иначе можно было сразу в петлю.

Как же Никитин любил сына! Он задыхался от молочного, «щенячьего» запаха, исходящего от его волос и кожи. Умилялся крохотным полупрозрачным ушкам, длинным ресничкам, упрямо сжатому ротику. Вставал по ночам, прислушиваясь к его дыханию, не брезговал стирать загаженные пеленки, подмывать, протирать, утирать младенческую рвотку.

У Таты были нервы. Вечные нервы, каждый день. «Нервный срыв», – говорила она. При этом жена тряслась над младенцем – любовь к сыну была у нее запредельной, ненормальной, звериной. Если ребенок капризничал или заболевал – обычное дело, животик, – Тата сходила с ума и требовала врача.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/mariya-metlickaya/zhit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить